

## ЮЛИЯ КРЮДЕНЕР И ФРАНЦУЗСКИЕ ПИСАТЕЛИ

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА, Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ,  
ШАТОБРИАНА И БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА В КРЮДЕНЕРОВСКОМ АРХИВЕ

Статья и публикация Абрама Эфроса

Русская литература о Юлии Крюденер скудна, западная—неподвижна; «*ne varietur*»,—верно сказал о европейских жизнеописаниях знаменитой сподвижницы Александра I на поприще подготовки и осуществления Священного союза последний крюденеровский биограф, французский академик Абель Эрман<sup>1</sup>; а на русском языке имеются, в сущности, только две известные статьи А. Н. Пыпина, напечатанные семьдесят лет назад в книжках «Вестника Европы»<sup>2</sup>, да в обзорах царствования Александра I, у Шильдера или Надлера<sup>3</sup>,—небольшой и устойчивый подбор цитат о роли Крюденер возле царя в кануны подписания пресловутого договора о Священном союзе монархов. И всё же привлекать внимание читателя к Крюденер сейчас, может быть, вновь не стоило бы, если дело шло бы о ней самой. Не потому, что она лишена красочности, наоборот,—это одна из самых декоративных женских фигур конца XVIII—начала XIX столетия; даже в кратком перечне прославленных женщин 1800—1820-х годов Юлию Крюденер было бы трудно обойти; у нее была своя пора всевропейской известности. Правда, у нее это свелось, в конце концов, к одному 1815 г., но среди всемирно-исторических потрясений этого времени, в гуле пушек Ватерлоо и краха наполеоновской империи, фигура царевой пророчицы, гремевшей на мировой авансцене Парижа, одесную российского императора,—якобы распорядительницей его совести и направительницей его воли,—так поразила воображение современников, что эти несколько месяцев крюденеровской славы уравнивали длительность внимания, какое вызывали к себе, скажем, г-жа Рекамье или императрица Жозефина.

Но именно это—самое яркое и памятное в крюденеровском облике—исчерпано исторической литературой. Попытка Шарля Эйнара написать биографию Крюденер в виде канонического жития стоила его героине большего ущерба, чем если бы он непритязательно передавал сведения и документы, которые собрал с такой обширностью и которые по сей день сохраняют за его двухтомным трудом, вышедшим почти сто лет назад, основное место в «Крюденериане»<sup>4</sup>. Как раз отталкиваясь от него, написал свой этюд 1849 г. Сент-Бёв, перечеркнувший им свою раннюю, слишком розовую «пастель», где в крюденеровском портрете есть отзвук подготовки к изображениям святоотческих фигур «Port-Royal», которыми Сент-Бёв занимается<sup>5</sup>; а Пыпин, комментируя того же Эйнара и доделывая то, чего, по самой природе своей чисто психологической критики, не сделал Сент-Бёв, вскрыл в превосходных статьях социально-политический

смысл мистико-придворной верноподданности Крюденер в пору фавора и мистико-демократической ее оппозиционности в пору опалы. Оба они непоправимо свели видимую представительность Крюденер к должным масштабам и подлинной природе. Последующим биографам была преимущественно оставлена возможность дополнений, уточнений или пересказов; это и использовала небольшая крюденеровская литература конца прошедшего—начала текущего столетия, от публикации Жакоба Библиофила, alias Поля Лакруа, привычно приправившего изданные им в 80-х годах новые документы занимательными недостоверностями<sup>6</sup>, до недавней книжки упомянутого Абея Эрмана, вполне беззаботной ко всему, кроме игривости изложения.

Но у Крюденер был талант, который и сейчас еще поддерживает внимание к ней: это дар общения. Ее связи были велики и часто перво-степенны. Она старалась не пропустить никого, кто обладал жизненной значительностью или яркостью. Документальных следов этих обширных связей сохранилось немного, но их все же больше, чем до сих пор обнаружено. Таковы письма, печатаемые ниже.

В крюденеровском архиве сохранилась ее переписка с писателями, носящими знаменитые имена французской литературы 1780-х—1810-х годов: с Сен-Пьером—Сталь—Шатобрианом—Констаном. Отдельные части переписки, естественно, неровны, как разны были отношения Крюденер с каждым из корреспондентов. Но и сама эта неровность типична, и совокупность материала необычно отражает важнейшие этапы жизни Крюденер и проводит перед нами людей, которые были ее старшими собратьями в литературе, поскольку у автора «Валерии» есть свое место в истории французского романа—если не в корпусном, то в петитном ее тексте<sup>7</sup>. Как увидит читатель, публикуемым письмам нельзя отказать в трех достоинствах: они ошутительно исправляют старый материал, они заполняют несколько важных пробелов, и, наконец, они не раз показывают именитых корреспондентов Крюденер иными, чем они любили рисовать себя сами или чем постаралась сохранить их опека литературных традиций.

## I

Переписка с Бернарденом де Сен-Пьером, которую Крюденер сберегла в своем архиве, относится к 1790 и 1791 гг. Ею не исчерпывается ни письменная, ни личная связь между ними. Она началась несколько раньше и закончилась много позже. Однако, эта пачка писем—главная по количеству и важнейшая по удельному весу. Наша публикация впервые выносит на свет материал, пролежавший нетронутым полтора столетия. Биографы Крюденер мало интересовались им, биографы Сен-Пьера не интересовались совсем. Между тем, эта переписка представляет самый настоящий интерес. Состояние литературного наследства Бернардена де Сен-Пьера все еще таково, что каждое новое обнаружение подлинников является событием в изучении его жизни и писательства. Посмертное издание его трудов и переписки, выпущенное Эме Марте-ном, оказалось интерполяцией, в которой редакторского творчества не меньше, чем авторского<sup>8</sup>. Но с тех пор, как Морис Сурио доказал это в 1905 г., за тридцать пять лет почти ничто не изменилось. Только две документальные работы вышли за этот промежуток времени: были изданы письма Сен-Пьера к Фелисите Дидо и к Дезире Пельпор—к

первой и второй жене писателя; это—«единственно надежные документы»<sup>9</sup>, по утверждению новейших французских исследователей. Таким образом, печатаемая нами переписка будет всего лишь третьей группой подлинников, извлеченных на свет из сен-пьеровских эпистолярных запасов. Но не только в этом значение нашей публикации: письма к Крюденер интересны и по существу; это—яркий эпистолярный памятник сентиментального стиля; они любопытны и в историко-общественном смысле: их даты охватывают первый этап Французской революции; как ни уклончив и ни осторожен Сен-Пьер, письма выдают его самочувствие среди разрастающейся революционной грозы.



ЮЛИЯ КРЮДЕНЕР

Миниатюра неизвестного художника, 1790-е гг.

Местонахождение оригинала неизвестно

Для крюденеровской биографии они также важны. В жизни Крюденер это решительное время; она уже определила себя: она пошла по дороге, удерживавшей ее целых полтора десятилетия. Она увиделась с Бернардемом де Сен-Пьером впервые в историческом 1789 г. Однако, это не начало их знакомства. Она представилась ему раньше,—только представилась заглазно. Нет никаких оснований считать, следом за Абелем Эрманом, что они встретились еще тогда, когда будущая баронесса Крюденер, юная Юлия фон Фитингоф, впервые попала в Париж<sup>10</sup>; это было в 1778 г., но ей шел только четырнадцатый год, а главное—Сен-Пьер был в это время всего лишь автором первой и едва замеченной книжки «Путешествие на Остров Франции», и трудно было бы объяснить, к чему ливонским аристократам Фитингофам было знакомиться и знакомить девочку с безвестным автором. Все стало иначе спустя несколько лет, по мере того, как выходило новое сочинение—сен-пьеровские «Etudes de la Nature», и, в особенности, когда в четвертом томе их, а затем

отдельной книжкой, появилась повесть о «Поле и Виргинии». «Этюды о природе» печатались с 1784 по 1788 гг.; особое издание «Поля и Виргинии» было выпущено Бернарденем де Сен-Пьером «для женщин»<sup>11</sup> в 1789 г. Он был в зените славы, Крюденер была его читательницей и написала ему. Так писали ему сотни. Он, видимо, ничего не ответил (его письма в архиве нет); это было в навыках его тщеславия. О чем она ему писала? Полностью мы не знаем, но по той выдержке, которая опубликована Эйнаром, ясно, что это была исповедь в модном духе, горевание чувствительного сердца над злосчастиями женской судьбы. В письме было подытожено то, что действительно случилось с ней; она искала у Сен-Пьера сочувствия и совета. У нее жизнь сложилась так: шестнадцати лет ее намеревались выдать замуж за человека, который был ей не по душе и от которого она избавилась, тяжело заболев оспой; спустя два года она приняла второе предложение: сватался барон и дипломат на двадцать лет старше ее, давший ей падчерицу девяти лет, человек почтенный, остывший, уравновешенный и чиновный; она стала «превосходительством», женой посланника в Венеции, а потом в Копенгагене; но «занять голову» и «удовлетворить тщеславие» ей удавалось совсем не в той мере, о какой тоскует ее исповедь Бернардену де Сен-Пьеру,—барон Крюденер был в известной мере философ, и мы подозреваем, что именно он приобщил супругу к чтению произведений «*maîtres de la sensibilité*» — «мастеров чувствительности» — и что сочинения Бернардена де Сен-Пьера, последнего друга и первого ученика эрменонвильского отшельника, она получила из рук мужа. Он только не подумал, что чувствительность ее сердца также требует жизненного удовлетворения. Результатом были романтические истории, а дальше — принятое бароном Крюденером решение разъехаться с супругой. Она уехала во Францию — и там встретилась с Сен-Пьером.

Сен-Пьер числился учителем жизни. Это было его десятилетие — 1785 — 1795 гг. — сен-пьеровский период литературы. Он первенствовал: «...великие мастера сошли со сцены: Вольтер и Руссо в 1778, Дидро в 1784...»; «Бюффона смерть наступает лишь в 1788, но вместе с «Эпохами природы» (1778) его творчество кончилось...»; «...надо ждать подлинных дебютов г-жи де Сталь, Жозефа де Местра, Сенанкура, Шатобриана, чтобы начался новый век», пока же «наступило царствование Бернардена де Сен-Пьера»<sup>12</sup>, — так подытоживает положение новейший исследователь французского преромантизма, А. Монглон. Художественная проза первенствовала среди жанров<sup>13</sup>, а в ней вершину обозначал Сен-Пьер. Всё, что умело читать, читало его; всё, что решалось писать, писало ему. Если не от крестьянской хижины, то от ремесленнического домика до дворцовых апартаментов у Сен-Пьера были почитатели, ученики, ставившие его в 1790-х годах примерно в то же положение, в каком в 1900-х годах находился Толстой, — и, пожалуй, даже Сен-Пьер брал людей шире, поскольку был нетребовательнее, скажем — равнодушнее, чем яснополянский вероучитель. Сен-Пьеру приписывали всё, что чувствовали, над чем страдали, а он не отказывался числить это под своей печатью. Молодой Сенанкур, будущий творец «Обермана», не нашел никого другого, чтобы поделиться взволнованным мизантропизмом своей юности и доверить намерение уехать на какой-нибудь остров, «забытый европейцами»<sup>14</sup>; молодые братья Бонапарте, Луи и Наполеон, свидетельствовали автору «Поля и Виргинии» свои восторги<sup>15</sup>; потом командующий итальянской

армией возил любимую повесть с собой в походах (он писал Сен-Пьеру между битвами: «...ваше перо—кисть... ваши произведения нас восхищают и утешают; вы будете в Париже одним из тех, с кем я стану видаться особенно часто и с особым удовольствием»<sup>16</sup>), а император нашел ей место в воспоминаниях и оценках «Мемориала о. святой Елены»<sup>17</sup>. Сен-пьеровская мода в канун и в начале революции была так велика, что даже сама Мария-Антуанетта сочла должным щегольнуть за придворным обедом цитатой из «Этюдов о природе»; Национальное собрание вставило в 1791 г. Сен-Пьера в список рекомендуемых воспитателей дофина<sup>18</sup>, и томик «Поля и Виргинии» послужил «австриячке» ключом шифра в тайной переписке с границей<sup>19</sup>. Вышло свыше трехсот контрафакций «Поля и Виргинии», а появившиеся в сентябре 1789 г. «Пожелания отшельника» («Vœux d'un solitaire») расхватили так, что спустя месяц издание стало ненаходимо<sup>20</sup>. Это уже наперед определяло приливы читательских писем и паломничеств к сен-пьеровской обители на улице Королевы Бланш, где его посетила и Крюденер. Людей, желавших видеть его, он еще мог кое-как отваживать, но почта была неумолима: «Дождь писем заливал rue de la Reine Blanche; он платил около тысячи экю почтовых пошлин» и сам подсчитал около семи-восьмисот посланий и визитов в год<sup>21</sup>.

Г-жа Крюденер, как видим, не проявила оригинальности, обратившись к Сен-Пьеру с исповедью души; она встала в обширную шеренгу себе подобных. Прибыв в Париж поздней весной 1789 г., она отправилась на улицу Королевы Бланш, в предместье Сен-Марсо, и заставила принять себя, что было не так уж трудно, принимая во внимание настойчивость ее характера и представительность ее титула. Шарль Эйнар, доведя в биографическом повествовании свою героиню до Парижа 1789 г., торопится миновать этот, казалось бы, столь важный, первый этап ее самостоятельной жизни. Она устраивается как желает; над ней нет опеки; она свободна; эпоха бурная, люди красочные; даже иностранцы, даже крюденеровские соотечественники, будь то молодой Карамзин или юный Струганов, потрясены, захвачены, преображены, делают не свойственные их русско-дворянскому положению и воспитанию поступки в этом освещенном революцией Париже<sup>22</sup>. Но Эйнар краток. Он замалчивает одну историю вовсе, у другой скидывает половину; о первой достаточно упомянуть,—это ее связь с академиком Сяуром, посредственным, но именитым литератором; вторая прямо относится к нашей теме: она видоизменяет эйнаровскую характеристику отношений с Бернардемом де Сен-Пьером. Эйнар дважды, в нескольких строках, говорит о них: один раз—увы, маловразумительно—в интереснейшей связи с революционными событиями 13 и 14 июля: «Б. де Сен-Пьер восторженно приветствовал и готовно впитывал в себя новые идеи. Что же касается госпожи Крюденер, всегда жадной до волнений и перемен, она отдавалась потоку без другой цели, как только бежать от самой себя и забыться»<sup>23</sup>. Что значит: «отдавалась потоку», и почему понадобилась оговорка: «без другой цели»? Значит ли это, что энтузиазм Сен-Пьера заразил и баронессу, заставил ее сделать несколько неосторожных, не российско-баронских проявлений симпатий к молодой революции,—как, наоборот, два года спустя она замешалась в контрреволюцию и поспешила бежать из Франции, боясь возмездия? Расшифровать туманности Эйнара, к сожалению, нельзя—данных нет; можно лишь, зная его навыки, предполагать, что он обходит тут какие-то нежелательные для огласки поступки или жесты Крюденер, выражавшие ее

единомыслие с Сен-Пьером в симпатиях к событиям первых месяцев революции. Во всяком случае, самое сочетание в эйнаровском рассказе Сен-Пьера и Крюденер в такой связи уже говорит о том, что встреча их была не обычной и не мимоходной. Однако, и второе упоминание Эйнара дает бесцветную характеристику. Мы читаем: «Приехав в Париж, госпожа Крюденер тут же отправилась на улицу Reine Blanche, в предместье Saint-Marcseau, в уединенное убежище Бернардена де Сен-Пьера, который принял ее с одушевлением, в память ее деда [Миниха]. Он любил рассказывать ей о доблестях этого великого человека и о покровительстве, которое тот ему оказывал, и осыпал ласками ее детей, которых он именовал Полем и Виргинией. Он гулял с ними в маленьком садике, показывая им всё, от пчел до собачки Атис, и водил их на прогулки вместе с г-жой Крюденер к Пре де Сен-Жерве и Муссо»<sup>24</sup>. Вот и всё,—сен-пьеровский эпизод этим у Эйнара исчерпывается; между тем, он мог бы сказать много больше: достаточно было одного крюденеровского архива, находившегося в его распоряжении. Сен-пьеровскую переписку там он читал, но он удовлетворился изображением приторным и по существу и по внешности. Между тем, Бернарден де Сен-Пьер был трудным человеком—настолько трудным, что полемика об его характере и отношениях к людям по сей день занимает исследователей. На расстоянии—в эпистолярных вежливостях и в литературных самоизображениях—он был один; в жизненном обиходе—другой; сколько бы ни сбрасывать теней с разочарованного описания, сделанного одной из современниц, г-жой де Каваньяк, спешившей, так же как и Крюденер, припасть к источнику сен-пьеровской чувствительности, но обнаружившей «...жадного, скупого, необщительного человека, с жестким и деспотическим характером, вечно предъявляющего какие-то просьбы, ищущего какой-нибудь денежной подачи...»<sup>25</sup>,—и как бы ни обставлять оговорками огорчительные сводки биографов, разбравшихся в его семейных и дружеских делах<sup>26</sup>, меньше всего пригодна для Сен-Пьера эйнаровская пастораль «уединенного садика» с «пчелами и собачкой». Общительные таланты Крюденер проявили себя по-настоящему, когда она заставила этого капризника ухаживать за ней, помогать ее будущему. Для нее он приоткрыл ту обворожительность, которая была доступна для всех в его писаниях и для очень немногих в его обхождении. Его письма к Крюденер свидетельствуют, что баронесса была победительницей. Она вызвала не только личное влечение, но и получила первое литературное благословение, первую поддержку и похвалы начатому ею писательству. Это было важнейшее. Она стала его приятельницей, чтобы быть ученицей. Ей самой захотелось славы. Знаменитость Сен-Пьера превращалась для нее, в успехах г-жи Жанлис или г-жи Риккобони, в доступное женским талантам дело, а литературное кипение 1789 г.—неслыханная живость новых журналов, обозрений, памфлетов, альманахов, мгновенные карьеры драматургов с Жозефом Шенье во главе—могущественно дразнило ее воображение и надежды. Ей нужен был в Сен-Пьере друг и руководитель, и она добилась этого. Когда, после полугодового пребывания в Париже, Крюденер отправилась на зиму на французский юг, их прощание было нежно: она вспоминает в письме, что обняла его со слезами, он—что целовал ее локоны.

Крюденер уехала в Монпелье в конце 1789 г.<sup>27</sup>; с ней были дети и гувернер, старый аббат. Через несколько недель, устроившись на новом месте, она послала Сен-Пьеру письмо:

Madame

J'ai reçu le 9 de ce mois votre aimable lettre en date du 20  
janvier et que j'ai chargée de correspondances <sup>personnelles</sup> et de  
affaires particulières, j'ai tout quitté pour vous transmettre la plus  
que vous m'avez fait. Bon moi, sans mesurer et sans mesurer  
sans me faire parvenir votre lettre! espérant que quelque chose  
me viendrait pour vous me marier, pas o'oblier, un an  
se sont tenu bien et elle m'empêchant plus être étranger, lui à  
l'écrite.  
espérant vous posséder de jours heureux. loin des luges, et de  
vous éloigner, vous trouvez votre bonheur dans le mariage et  
dans des plaisirs innocents, vous me faites une description charmante  
de paysages de montagnes, et de sa famille d'anglais, bonne,  
innocente, et obéissante, semblable à ce fleur qui parent ces  
"pays fleuris sans être eux et pour prodiguer leur parfum aux  
"serres, si fameuses visible et tendre que votre esprit doit être  
malheureux de vous voir loin de vous,  
je vous envoie de moi quelques souvenirs, et de dire  
du pie et givre, invitai avec vos enfants à une de vos collations  
Masha, un pauvre enfant de village voisin, plus pauvre que en sa petite  
salle si je lui ai quelques fois fait de votre dire, et avec le  
pauvre l'homme de Dieu et un mon souvenir, et je prie, innocent  
portant dans le ciel les vœux que je fais pour vos bien-être.

je voudrais bien, il m'aurait possible, si c'était quel que chose à votre  
bonheur au lieu ou vous êtes, si vous vouliez vous répondre dans  
la soirée, il y a Montpeller un peu au-dessus de mes amis  
appelle M. Gay, il est gely comme son nom, il a de l'esprit et beaucoup  
de littérature, il écrit seulement que vous êtes mon amie, il écrit  
vous voir, que je vous envoie ma vie, j'ai vu coute que vous êtes  
à Arignon et je voudrais voir un jour la commission d'une dame  
appelle M. de la baronne d'André qui a une famille si noble.  
meu vous marier, bon melle part des recommandations d'un  
philosophe. Si que vous voyez en vous communiquez, vous êtes avec  
de vous faire aimer, votre famille, votre cœur et des livres  
suffisant à vos plaisirs. la lettre des Confessions de J. J. sont  
vous me parle y contiennent tout ce que vous voulez. elle est bien certainement  
de ce philosophe visible et malheureux. la dernière partie  
de cet ouvrage y comprend ses querelles en anglois avec  
400 académiciens d'Europe actuellement, à ce que les uns  
disent.  
tout est fort tranquille ici. le d'oy a été avant hier à  
l'assemblée nationale ou il a déclaré qu'il desiroit être citoyen  
cette assemblée le nouvelle constitution dans tous les points  
et voudrait impoyément avec le même y élire le d'oy.  
cette dénomination a fait le plus grand plaisir, on a illuminé  
pari le soir, et même le nuit d'ici.

АВТОГРАФ ПИСЬМА БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА К Ю. КРЮЛЕНЕР ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 1790 г.

Страницы первая и вторая

Публичная библиотека, Ленинград



(1)

[Монпелье, 20 января 1790 г.]<sup>28</sup>

Позвольте мне, сударь, напомнить вам о себе, и разрешите сказать, что я не стала вам чужой. Заинтересовать г. де Сен-Пьера представляется для всякого чувствительного существа,—я в том уверена,—наслаждением, а для моей души это потребность, ибо в тот очаровательный день, проведенный нами в Пре де Сен-Жерве, я сумела слишком хорошо послушаться к вам. Ваша доброта наполнила мою душу чересчур щедро, я же не считаю себя недостойной чувствовать вас. Так как теперь мне не дано больше вас слышать, вы не должны лишать меня возможности хотя бы лелеять мысль, что у меня будет право посетить вас в тот день, когда судьба приведет меня в Париж, и что до той поры я буду иногда получать несколько строк, написанных вашей рукой.

Вот уже два с половиною месяца, как я нахожусь в Монпелье, и я надеюсь, что когда-нибудь смогу сказать, что не только пребывала в этом городе, но и жила в нем. Почти ни одного дня не проходит для меня без наслаждения Природой, Солнцем и прекрасным зрелищем, которое беспрестанно представляют они. Здесь культура соединена с благодеяниями счастливой почвы, а человеческие старания вознаграждены достатком.

На многих фермах я видела довольство счастливых семейств; сколько раз говорила я себе при виде этих сердец, простых и правдивых: к чему нам искать большего, нежели эти цветы, созданные для того, чтобы незримо цвести и скрыто распространять благоухание? Постоянно слышишь жалобы на людей, вернее—на свет, на низкопоклонников, на любезных злодеев, на так называемых философов; эти жалобы основательны, но разве тот, кто копается в грязи, сам не покрывается зловонными миазмами? Между тем, люди Природы, столь непохожие на этих, еще весьма часто являют собою любезный образ Доброты и Невинности. Потому-то мне и приятно бывать среди добрых и чувствительных поселян; они понимают меня, а интерес и расположение, которое мне хотелось бы проявлять к ним,—это язык, который всем доступен и на котором всем следовало бы говорить. Я очень часто полдничаю с моими детьми близ какой-нибудь фермы, на берегу реки, или на каком-нибудь островке. Иногда мы обедаем, как в Пре де Сен-Жерве, и время года, которое в иных местах [протекает] печально в домах, здесь так прекрасно, что я всякий день непременно провожу три-четыре часа на воздухе, читая или рисуя. Поля зелены. Местность покрыта оливковыми деревьями, кипарисами, лаврами, с которых никогда не опадают листья. Один лишь Пье де Сен-Лу—высокая гора в окрестностях—белою своею вершиной являет образ зимы, меж тем как у подножья его еще видны создания лета.

Ах, почему не могу я достойным образом рассказать вам о великолепных окрестностях Монпелье! Нужны были бы ваши карандаши, чтобы нарисовать эту обширную цепь Пиренеев, которые каждый вечер вычерчиваются предо мной на пламенеющем горизонте,—и эти Севенны, чьи ощетинившиеся и дикие чащи укрывают собой несчастных протестантов. О, какими красками наделила бы все это ваша душа! Как радостно было бы вам созерцать море, которое я вижу из моих окон, и волшебство световых эффектов, когда солнце садится, когда последние лучи его умирают на горах.

О вы, мыслящий, как мудрец, но чувствующий, как человек,—вы с удовольствием слушали бы пение крестьян и крестьянок, которые, скрывшись среди деревьев, собирают оливки и бросают их вниз на большие белые

полотнища, разостланные под деревьями; вы наслаждались бы этой очаровательной картиной народа веселого, счастливого, всегда воодушевленного, всегда щедрого.

Город богат, в нем большая промышленность; многочисленные хлопчатобумажные мануфактуры, вырабатывающие ситец, дают работу множеству рук. Соседство с Сеттом содействует равно и торговле: она очень распространена здесь, а для бедняков существуют превосходные учреждения. Недавно открылась благотворительная мастерская для предоставления работы всем желающим. Все это, в совокупности с климатом, который, по-моему, лучше, чем в Италии, и умеряет потребности,—делает этот край пленительным местом. Вот почему я никогда не была счастливее, чем теперь, и мое здоровье восстанавливается от простой и полной жизни, которую я веду, от того, чем я занята ежедневно.

Я провожу все время с детьми, радуюсь их здоровью, их счастью. Я вижу, как они растут, и создаю вокруг них, так сказать, преграду, через которую не пробраться пороку. Я окружена господами авторами—французскими, английскими, немецкими. Мы почти ежедневно делаем загородные прогулки; у нас часто музыка, и мне ни разу еще не пришлось пожалеть о светском обществе, от которого я совершенно удалилась.

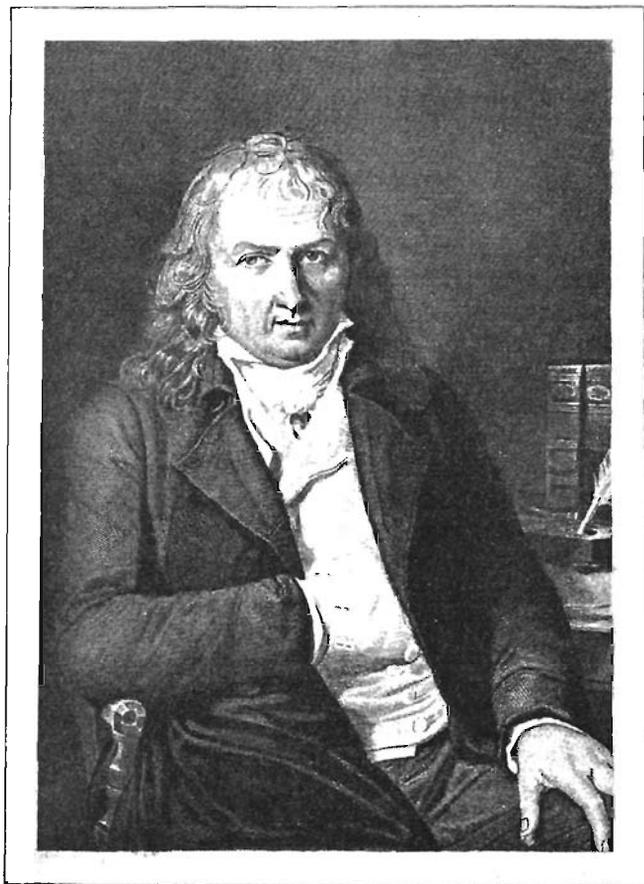
Быть может, теперешний образ жизни лишь потому так и нравится мне, что выбран мною самой и что только от меня зависит вернуться в свет, жить в Копенгагене, в прекрасном доме, вместо маленького здешнего, и устраивать ужины (на казенный счет), вместо того, чтобы скромно закусывать здесь на траве. Но я отлично знаю, что если вернусь к светским обязанностям, то стану болеть, скучать, печалиться, тяготиться. Между тем, здесь я могу заботиться о своем слабом здоровье, которое плохо переносит бессонные ночи, и я нахожу подлинную прелесть в возможности отдаваться своим занятиям; там же это [уступило бы место] большею частью пустому времяпровождению.

Мне удалось уже внушить и г. фон Крюденеру сильное желание приехать сюда и испытать спокойную жизнь. Однако, его служба необходима для наших детей. Я рассчитываю этим летом пить воды и брать ванны в Баньере и иметь в распоряжении еще следующую зиму, чтобы провести ее в южных провинциях. Может быть, за это время г. фон Крюденер получит назначение в такое место, где климат будет более подходящим для моего здоровья, которое не может быть хорошим на севере.

Простите мне длинноту письма и все мелочные подробности, в нем содержащиеся, но вы проявили такую дружбу ко мне! Я так люблю вас, что и вы, несомненно, интересуетесь мною. Да, я люблю вас до глубины души. Если бы вы обладали только просвещенностью, знаниями, талантом,—я восхищалась бы вами, но вы соединяете это с добротой, а она одна привязывает. Я буду долго жить в том маленьком саду, в той вольере, подле того улья, в том простом жилище, где вы, не зная меня, приняли или, вернее, приютили меня с трогательной приветливостью. Я всегда буду там мысленно с вами, с тем, кто напомнил мне столь любимую мною античность, кто, претворяя философию в дело, наставляет людей, дабы сделать их лучше, и кто среди роскоши Парижа и его блистательных удовольствий отделил себя от них тем сверкающим промежуток, какой существует между безумием и мудростью.

Надеюсь, что ваше здоровье так хорошо, как мне того хотелось бы, а если занятия позволят вам написать мне несколько строк,—побесе-

дуйте со мной, прошу вас! Вы не можете сомневаться в моей привязанности к вам. Когда при расставании я обнимала вас, у меня навернулись слезы, ибо когда, тронутая добротой, какой дышали ваши речи, я впервые пожала вам руку, я почувствовала, как говорит один немецкий писатель, что это не деревянная рука, которая в свете часто отталкивает, чуть только хочешь коснуться ее.



BERNARDIN DE ST PIERRE

БЕРНАРДЕН ДЕ СЕН-ПЬЕР

Гравюра П. Пелэ с портрета Л. Лафитта 1805 г.

Примите же еще раз уверения в дружбе, которую вы внушили мне на всю жизнь и к которой я присоединяю глубочайшее уважение и самое искреннее желание пользоваться всегда тем вашим расположением, какое вам угодно было оказывать мне в Париже и о каком я еще буду лично когда-нибудь вновь просить вас.

Остаюсь с наилучшими чувствами ваша покорнейшая и [пропуск] слуга

Б[аронесса] фон Крюденер

Г-н де [Массике], который первый привел меня к вам<sup>29</sup>, будет добр передать вам это письмо, а если вы пожелаете написать мне, то благоволите адресовать ваше письмо г. Косту, биржевому маклеру, в Монпелье, для передачи бар. фон Крюденер.

Позвольте спросить вас, спокойно ли живется вам в Париже в настоящее время, и будьте так добры сказать мне также, действительно ли продолжение «Исповеди», объявление о котором я видела, принадлежит Ж.-Ж.?

Письмо прозрачно своими литературными притязаниями. По ящичкам разложено всё, что кажется обязательным по отношению к такому адресату, как Сен-Пьер: провинциальное уединение противопоставлено столичным вихрям, светское бездельничанье — крестьянскому трудолюбию, крупницы социально-экономических сообщений и социально-филантропических выводов выполняют роль отголосков парижских революционных забот и волнений; а преимущественно, при каждой оказии — переход к картинкам природы сен-пьеровского ритма и окрашенности. Литературная озабоченность крюденеровского пера велика, но с трудностями она справляется плохо. Письмо написано провинциальным, местами варварским французским языком; но там, где крюденеровской памяти приходят на помощь знакомые образцы, речь выравнивается, приобретает плавность и колорит. Можно сказать, что вообще эти письма к Сен-Пьеру были для Крюденер в значительной степени литературными упражнениями, в буквальном смысле школой языка и стиля; так смотрела на них она, так расценивал их и Сен-Пьер. Спустя десятилетие эпистолярный стиль «Валерии» будет в своей первооснове питаться этими соками. Наоборот, фактическая наполненность письма скудна, да еще и мало правдива. Частью это вызвано общепринятой условностью кое-каких утверждений, так и принимаемых Сен-Пьером; пример — сожаления, повторяемые Крюденер из письма в письмо, о жизни врозь с супругом из-за противоречий между его служебными обязанностями и состоянием ее здоровья<sup>30</sup>. А рядом с такой условной неправдой наличествует неправда безусловная; она прикрывает подлинное времяпровождение Крюденер в Монпелье и кое-какие завязавшиеся личные отношения, которых она не хочет выдавать: заявление, что она «совершенно удалилась от светского общества» и дружит с книгами, ложно; Эйнар перечисляет компанию совсем иного рода: «Граф де Лезэ, г-жа Лобкова, граф Пушкин и господин Годо, его воспитатель, маркиз и маркиза де Ливрон, герцог де Флэри, герцог и герцогиня де Ла Форс скоро стали обычным обществом госпожи Крюденер...»<sup>31</sup>; ее антисветские филиппики не стоили даже чернил, которыми были написаны. Более того: из ее письма и ответа Сен-Пьера явствует такая поглощенность новыми связями, что два с половиной месяца, по ее словам, и четыре слишком — по огорченным сен-пьеровским исчислениям, она не писала, а написав, не находила времени отослать письмо. Сен-Пьер, наоборот, ответил немедленно, на следующий же день по получении крюденеровского послания.

(2)

[Париж, 6 февраля 1790 г.]<sup>32</sup>

Сударыня,

5-го числа я получил ваше любезное письмо, помеченное 20 января, и хотя я до крайности обременен общей своей перепиской и специаль-

ными работами, я всё бросил, чтобы засвидетельствовать вам, какое удовольствие вы мне доставили. Три месяца не писать мне и шесть недель не отправлять написанного письма!<sup>33</sup>. И всё же, что-то говорило мне порой, что вы не забыли меня: души наши соприкоснулись, и никогда уж не стать им чужими друг другу. Между тем, вы наслаждаетесь счастливыми днями вдаль от зимней непогоды и грозowych путей. Вы находите счастье в природе и в неизведанных наслаждениях. Вы очаровательно описали мне свое недолгое пребывание в Монпелье и эти сельские семьи, добрые, невинные и безвестные, «подобные цветам, созданным для того, чтобы незримо цвести и распространять свое благоухание в пустыне». О, женщина чувствительная и нежная, как несчастен должен быть ваш супруг, живя вдаль от вас!

Если вы сколько-нибудь помните обо мне и об обеде в Сен-Жерве, то пригласите к одной из ваших трапез на лоне природы с вашими детьми какого-нибудь бедного ребенка из соседней деревушки, еще более бедного, чем те две маленькие девочки, такие хорошенькие, с которыми вы разделили тогда обед; пригласите его во имя любви к богу и в воспоминание обо мне, и его невинные молитвы донесут до неба мои пожелания счастья вам на земле. Мне очень хотелось бы, будь это в моих силах, хоть чем-либо содействовать радостям вашего пребывания в краях, где вы находитесь. Если бы вы пожелали возвращаться в обществе, то в Монпелье есть один молодой врач из числа моих друзей, зовут его Гэ. Он весел, как его имя<sup>34</sup>, остроумен и очень сведущ в литературе. Знай он, что вы моя приятельница, он, конечно, навестил бы вас, хотя он и молодожен.

Мне представлялось, что вы в Авиньоне, и я подготовил было вам знакомство с одной дамой, баронессой д'Андре, у которой радушное семейство. Но вам нигде не понадобится рекомендация отшельника: стоит вам лишь пожелать общения, и вы наверняка знаете, что вас полюбят. Но вам для благополучия достаточно семьи, сердца и книг. Продолжение «Исповеди» Жан-Жака, о котором вы говорите, еще усугубит это. Продолжение, несомненно, принадлежит упомянутому философу, чувствительному и несчастному. Последняя часть этого произведения, содержащая рассказ о его препирательствах в Англии с нашими академиками, в настоящее время, как меня уверяли, находится в печати<sup>35</sup>.

Здесь все совершенно спокойно. Король третьего дня посетил Национальное собрание, где заявил, что желает быть активным гражданином, принимает новую конституцию во всех ее пунктах и хочет в согласии с королевой воспитать в этом духе дофина. Этот поступок встречен с громадным удовлетворением; Париж был вчера иллюминирован не только вечером, но даже ночью<sup>36</sup>.

Будущее сулит нам всё наилучшее. Тем не менее, я желаю жить сельской жизнью, подобно вам, вдаль от непостоянных людей. Если я развил свои размышления о счастье человеческого рода, то потому, что мне не суждено было жить счастливым в хижине. Мне остается добавить еще несколько страниц к трудам моим, а затем я надеюсь в одиночестве впитывать в свою душу спокойствие природы. За последние дни я с удовольствием прочел в напечатанных корреспонденциях, что мои «Этюды» были переведены на английский язык, равно как узнал, что моя теория морских приливов принята в Англии с величайшим сочувствием по тому случаю, что один английский корабль встретил пловучие льды под 42° южной

широты<sup>37</sup>. Однако, ни этих успехов, ни значительного числа друзей и приятельниц, доставленных мне ими, отнюдь не достаточно для того, чтобы наполнить мое сердце. Я ищу душу, подле которой могла бы обрести покой моя душа, иными словами, я ищу подругу нежную, чувствительную, любезную и добродетельную. Я чувствую, что жизнь моя идет под гору; я нуждаюсь в опоре, которая поможет мне еще продержаться, и в руке, которая закроет мне глаза. Где найду я женщину, которая походила бы на вас и которая чувствовала бы себя одинаково счастливой и в благополучии и в житейских невзгодах? Именно вы вызвали во мне вновь эти желания моей жизни. Я мало видел вас, но вспоминать о вас буду всегда. Вы похожи на ту подругу, о какой я столько раз молил небо. Но так как вы не можете стать моей, то возместите же это вашей дружбой! Вы ничего не говорите мне о своем проекте поселиться во Франции. Думаете ли вы остаться в том благодатном климате, где находитесь теперь? Неужто вас несколько не привлекает климат Парижа? Что касается меня, то у меня есть около 12 000 фр., на которые я собираюсь купить мызу, чтобы обеспечить себе покой и уединение в деревне и существование в убежище, предохраняющем от всяких фискальных потрясений. Я перебирал разные места, думая потратить эти деньги, но с тех пор, как вы написали мне, чувствую, что меня тянет на траву к Пье де Сен-Лу или к Пре де Сен-Жерве. Напишите мне о ваших планах, о ваших удовольствиях и горестях. Письмо ваше—первоклассный образчик стиля и чувства. Любезная женщина,—я говорю это вам без лести и с такой же искренностью заверяю вас в своей дружбе, которой вы у меня просите, и в уважении, которое внушает мне ваша добродетель! В этих чувствах, сударыня, пребуду на всю жизнь вашим покорнейшим и преданнейшим слугой и другом.

де Сен-Пьер

6 сего февраля 1790 г.

Адрес: Улица Королевы Бланш,  
близ Королевского сада  
в Париже

Поцелуйте за меня ваших милых деток и простите беспорядочность моего письма, вызванную многочисленностью моих писаний.

Я прочитал нескольким друзьям, обладающим вкусом, отрывок из вашего письма, и они заверили меня, что им не случилось еще видеть ничего, столь хорошо написанного. Что же касается того места, где вы просите моей дружбы, я не осмелился прочесть его вслух. Просьба эта причинила мне некоторое огорчение: мне показалось, что вы считаете мою дружбу уже безопасной. Так все говорит мне о том, что я старею. Однако же, не обещай вы мне вашей дружбы, никогда не отважился бы я просить вас о ней.

Сен-пьеровское письмо, как видим, не менее типично и прозрачно, чем крюденовское. Он тоже весь здесь. Его ответ—программа; в нем оценка настоящего и виды на будущее, общественные и личные. Прежде всего, характерно это политическое благодушие—всё идет хорошо, а станет еще лучше: король единомыслит с Собранием, королева готова конституционно воспитывать дофина, Париж иллюминирован, будущее безоблачно. Это даже не обывательщина, ибо парижский обыватель на переломе первого года революции был уже менее всего оптимистом; его

тяжело лихорадило: усугубляющиеся волнения у продовольственных лавок, клубки верных и измышленных слухов, ежедневно катящиеся из двери в дверь, столкновения в Национальном собрании, подкрепленные демонстрациями на улицах, переходящими в кровавые схватки, полемика журналов, становящаяся все громче и ожесточеннее; начавшиеся процессы, приоткрывшие первые планы расправы двора и эмигрантов с революцией, вилияния короля, «австриячки» и их клики, вырисовывающие, за шумом уверений в любви к народу и в доверии к Собранию, подготовку то ли

10 Fev. 1790

N. 1

Cui nos omnes se sont touchés, vous l'avez dit et je l'ai senti, la première fois que je serrai votre main et je le suis à mes larmes en vous quittaant, je souvenis moi vous et le Nation, si rare de vertus et de talents, je souvenis en moi de grandes facultés, comme les connoissances, vous me dit je l'homme qui sauroit braver ce qu'il y a de bien en moi, que sauroit résister, c'est lui qui m'inspire et le malin, c'est moi qui suis le plus d'ardeur, je vous dis à mes yeux de la saillie, dans cette création que mon cœur voudrait combler toute sa vie, c'est lui qui s'oppose à cette sensibilité, à ce je me en suis le maître qui s'oppose à tout. Belle un cœur que mon imagination ne peut résister, c'est moi qui suis le plus d'ardeur, je vous dis à mes yeux de la saillie, dans cette création que mon cœur voudrait combler toute sa vie, c'est lui qui s'oppose à cette sensibilité, à ce je me en suis le maître qui s'oppose à tout.

Je sensais aussi que vous me aviez aimé, vous ne pouvez résister à un cœur sensible et vous qui vous souveniez de toutes ses affections me vous aviez aimé comme de. Je défais et le cœur s'oppose à tout, c'est moi qui suis le plus d'ardeur, je vous dis à mes yeux de la saillie, dans cette création que mon cœur voudrait combler toute sa vie, c'est lui qui s'oppose à cette sensibilité, à ce je me en suis le maître qui s'oppose à tout.

Je me porte dans le monde qui me aviez aimé, vous ne pouvez résister à un cœur sensible et vous qui vous souveniez de toutes ses affections me vous aviez aimé comme de. Je défais et le cœur s'oppose à tout, c'est moi qui suis le plus d'ardeur, je vous dis à mes yeux de la saillie, dans cette création que mon cœur voudrait combler toute sa vie, c'est lui qui s'oppose à cette sensibilité, à ce je me en suis le maître qui s'oppose à tout.

АВТОРСКАЯ КОПИЯ ПИСЬМА Ю. КРЮДЕНЕР К БЕРНАРДЕНУ  
ДЕ СЕН-ПЬЕРУ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1790 г.

Страница первая

Публичная библиотека, Ленинград

к перевороту, то ли к бегству за рубеж; угрозы интервенции монархических держав, уже просачивающиеся из-за границы; наконец, ширящиеся сведения о волнениях в провинции,—таков режим парижского обывателя в конце 1789—начале 1790 гг. Глухой вопрос Крюденер, спокойно ли Сен-Пьеру в Париже, был связан как раз с тревогами, которые испытывало ее дворянско-светское окружение в Монпелье оттого, что провинциальная и крестьянская Франция стала сотрясаться теперь всё больше и ощутительнее. Это было новым в положении; это обращало на себя внимание, как грозный симптом; именно теперь у такого настойчивого стороннего наблюдателя, как русский посол Симолин, в донесе-

ниях отечественному двору появляются сообщения о крестьянских восстаниях в Ренне, в Сент-Этьенне, в Шантильи, о городских волнениях в Тулоне, в Бордо, о военных волнениях в Лилле, в Тарасконе, в Дуэ, о революционно-патриотическом движении в Авиньоне, столь близком к местопребыванию Крюденер<sup>38</sup>. Она и ее среда воспринимали всё это, как детонации парижского вулкана. Ответ Сен-Пьера показывал не столько то, что он видел вокруг себя, сколько то, что отразилось в зеркале его собственных дел: они, действительно, были превосходны. Чем труднее становилось кругом, тем охотнее тянулись читательские слои к этому мудрецу, так пленительно успокаивающему душу, знающему, как надо жить и в чем искать счастья, проповедующему чувствительность и кротость. Его сочинений всегда нехватает на рынке, он переиздает прежние, сочиняет новые, волнуется лишь подделками и подражаниями, грабящими его доход, утешается своей славой и чувствует изъян только в отсутствии личного счастья, достойной подруги, как прямо заявляет он в письмах к Крюденер. Сейчас он готов сосредоточить надежды на залетной путешественнице. Для нее сен-пьеровский ответ—триумф. Двойная похвала крюденеровскому стилю, сопровождаемая даже цитатой из ее письма и подкрепленная суждением знатоков, должна была быть наиболее важной, ибо укрепляла крюденеровскую литературную предприимчивость. Но и личные излияния Сен-Пьера, теща самолюбие, требовали от адресатки не риторического, а вполне жизненного ответа: быть ли ей той душой, которой ищет Сен-Пьер? Решение находилось в ее руках. Она ответила следующим письмом:

(3)

[Ним] 20 февраля 1790 г.<sup>39</sup>

Да, наши души соприкоснулись: вы это сказали, а я это почувствовала в первый же раз, когда пожала вам руку, и я поняла это по своим слезам, расставаясь с вами. Я нашла в вас столь редкое соединение добродетели и талантов, я почувствовала в себе большие способности постичь их; «вот, сказала я себе, человек, который сумеет руководить тем, что есть во мне доброго, который сумеет полюбить меня; это он пробудит во мне интерес к природе; благодаря ему, взор мой научится улавливать тончайшие оттенки в этом мире, который сердце мое желало бы объять целиком; это он приведет в разумное равновесие пылкую мою чувствительность, это он очертит круг, за который не должно будет переходить мое воображение». Я могу быть чем-то—я это чувствую; во мне выражены сильные влечения к добру, а в его власти дать им достигнуть наилучших результатов, указывая мне, в чем заключаются свойственные мне пороки. Ведь он владеет истиной, которую я ищу и которою сам он руководствуется уже давно; его рука будет направлять меня, а душу мою, постоянно переступающую границы в стремлении за все братья, он заставит оставаться в тех пределах, в которых она сможет развернуться со всей своей энергией, и тогда все эти порывы, пока еще бесплодные для добра, превратились бы в действия, которые принесли бы честь моей жизни.

Я чувствовала также, что вы должны были полюбить меня, что вы не могли бы сопротивляться сердцу простому и правдивому, которое окружило бы вас своей привязанностью, не скрывало бы от вас ни одного своего недостатка и искупало бы их добротой, ибо она живет в моем сердце так же, как и в вашем.

Я испытываю в свете только крайнее равнодушие и презрение ко всему, что составляет очарование обычных светских связей. Во мне нет никакого блеска, ничего соблазнительного; я лишаюсь всего, когда не ощущаю языка чувствительности, и я слишком правдива, чтобы прикрашивать действительность. Подле вас сердце мое раскрылось, душа ваша обняла мою. Я нашла в ней точки соприкосновения, которые должны были сделать меня дорогой вам; я отдавалась вашим волнениям, и вы сочли меня

( N<sup>o</sup>. 36. )

SAMEDI 4 Septembre 1790.

## MERCURE DE FRANCE.

Composé & rédigé, quant à la partie littéraire, par MM. MARMONTEL, DE LA HARPE & CHAMFORT, tous trois de l'Académie Française; & par M. IMBERT, ancien Auteur & Éditeur: quant à la partie historique & politique, par M. MALLET DU PAN, Citoyen de Genève.

Le prix de l'Abonnement est de 33 liv.  
franc de port par tout le Royaume.

## MERCURE DE FRANCE.

PIÈCES LUGITIVES  
EN VERS ET EN PROSE.

PAUL AU TOMBEAU DE VIRGINIE,

ROMANCE.

REPOSE en paix, ma Virginie,  
Le repos n'est pas fait pour moi;  
Hélas! le monde entier, sans toi,  
N'a rien qui m'attache à la vie.

Le plaisir, ainsi que la peine,  
Tout passe avec rapidité;  
Notre vie est une ombre vaine  
Qui se perd dans l'éternité.

A nos deux cœurs l'Amour barbare  
Offroit un riant aveçir;  
Et la mort... la mort nous sépare;  
C'est pour bientôt nous réunir.

Nota. Le sujet de cette Romance est pris dans le Roman intéressant de Paul & Virginie, composant la 4<sup>e</sup>. Partie des Etudes de la Nature, de M. de St-Pierre.

A 2

СТРАНИЦА ПЕРВОПЕЧАТНОГО ТЕКСТА СТИХОТВОРЕНИЯ „ПОЛЬ У МОГИЛЫ ВИРГИНИИ“, УПОМИНАЕМОГО БЕРНАРДЕНОМ ДЕ СЕН-ПЬЕРОМ В ПИСЬМАХ К Ю. КРЮДЕНЕР

„Mercure de France“ № 36, от 4 сентября 1790 г.

достойной той дружбы, которая является моей гордостью. Судите же, какой счастливой сделало меня ваше письмо: оно наполнило глаза мои слезами, а сердце — нежностью, но равно и сожалением. Разве не нахожусь я вдалеке от вас, когда могла бы быть такой богатой вашим присутствием и чувствами, которые вы мне даруете. Судите, как могла бы я наслаждаться вашим обществом, обладая сердцем, созданным для того, чтобы чувствовать вас, и располагая возможностями вести столь уединенную жизнь: я представляю себе наши разговоры, которые искренность, простота, истинная простота, делали бы такими приятными, — это безграничное доверие, эти прогулки на лоне природы, эти простые

трапезы, эту дружную семью, совершенно далекую от светских дрызг, от эгоистических расчетов, от интриг, от тщеславия, от зависти. Да, всё это в минуты, когда вы были бы свободны от своих занятий, давало бы, я уверена в этом, очарование вашему существованию и составило бы счастье моего.

Ибо вашу душу искала я — душу, любящую не только добродетель, но и людей, просвещенную философией, но и согретую благочестием, любящую добро и снисходительную к заблуждениям. Да, именно такой должна быть душа истинного мудреца. Она, как пчела, извлекает благотворные соки из худшего растения, меж тем как паук даже из прекраснейшего цветка извлекает лишь яд. Но сотни миль разделяют нас. Ваша судьба приковывает вас к Парижу. Мое здоровье нуждается в здешнем климате. Когда же вновь увижу я вас? Как была бы я счастлива, если бы обосновалась близ того уголка земли, который вы ищете для себя, и жизнь моя протекала бы между вами, моими детьми и полезными занятиями. Если бы судьба позволила мне остаться в Монпелье, я уверена, что вы не стали бы жалеть о преимуществах, какие дает соседство Парижа, и переменили бы их на тихие радости, которые дало бы вам общество искреннейшей подруги. Да и вообще, любя жить на лоне природы, насколько сильнее могли бы вы наслаждаться ею! Вместо зимы здесь весна, и за две недели я наблюдала только один осенний день. Как богата и как прекрасна здесь природа! Как грандиозны и величавы ее формы! Как это небо чисто, как это солнце благодатно! Здесь нет покоя, нет перерывов, нет смерти. Здесь всё в непрестанном брожении, всё несет плоды, каждый шаг попирает благоуханные растения, каждый взгляд, брошенный вокруг, электризует.

Вы желаете, чтобы я рассказала вам о своих планах, удовольствиях и огорчениях. Я могу быть счастливой, лишь живя так, как я живу сейчас: этого требуют мое здоровье, моя душа, моя любовь к детям. Но не к такой жизни, увы, я предназначена. Я соединена с самым любезным, с самым ревнивым к моему счастью и самым достойным вашей дружбы человеком, но он занимает пост, обрекающий меня возвращаться в свете. Я принесла с собою в свет крайнюю суетность и даже вкус к рассеянной жизни. Но это была только привычка, вызванная во мне воспитанием, и я скоро почувствовала отвращение к ней. Мое сердце оставалось небогащенным среди благ, признанных светом, ему нужны были блага природы и разума, меня угнетала та постоянная стесненность, в которой я принуждена жить. От природы меланхоличная и любящая покой, я, несмотря на все свои усилия, была окружена злочастными светскими дрызгами; неутолимейшей потребностью души моей было достойно использовать время, я же вынуждена была растрачивать его. Я страдала той жестокой болезнью, тем расстройством нервов, которое вам знакомо и которое люди, неспособные по природе своей его чувствовать, считают не более, как болезнью воображения. И вот я не могла избавиться от участия в парадных обедах, от посещений двора; от бессонных ночей, от туалетов. Я была глубоко несчастна; меня грызла черная печаль; я стала боязливой, всего страшилась; вскоре увидели, что я кашляю кровью, грудь моя внушала тревогу, и я уехала, чтобы поправить здесь здоровье. Перемена климата, развлечения, прогулки уже в Париже способствовали значительному улучшению моего состояния. В Монпелье же, в простой жизни, какую я смогла вести, в уединении, я обрела это

желанное счастье. Но я дрожу при мысли о страданиях, которые готовит мне ... [оборвано] ... севера, когда придется вернуться в свет. Между тем, мне тяжело заставлять г. фон Крюденера жить от меня в отдалении, на которое он жалуется и которому я хотела бы положить конец, если бы могла отделить от этого мысль о предстоящих страданиях. Врачи посылают меня на это лето в Баньер; не знаю, проведу ли я следующую зиму еще во Франции; но, как бы ни сложилась моя судьба, я сделаю все, от меня зависящее, чтобы вновь увидеть вас. Я испытываю потребность говорить себе, что увижу вас, что даже проведу некоторое время с вами. Мне улыбается и еще бóльшая надежда: если в один прекрасный день замыслы г. фон Крюденера осуществятся, то мы поселимся во Франции, и время это, быть может, уже недалеко; я же приложу к этому все старания.

Я собираюсь поехать на месяц в Авиньон, чтобы осмотреть этот город, и, пользуясь дружбой вашей, навещу баронессу д'Андре. В Ниме я уже месяц. Я хожу по нему с бесконечным удовольствием: квадратный дом, цирк, простые, благородные, мудрые памятники,—на всем лежит печать античности; я провожу много времени у себя в саду, полном фиалок, левкоев, гиацинтов. Абрикосовые и миндальные деревья сейчас в цвету. В апреле я буду снова в Монпелье.

Позвольте мне время от времени писать вам, уважаемый и дорогой друг. Отвечайте мне лишь несколькими строчками, потому что вы ведь заняты,—прошу у вас благорасположения хотя бы на две строки, так как время ваше драгоценно, и с каким бы восторгом ни читала я ваши письма, я буду довольна и тем, что стану знать, что вы меня любите и здоровы.

Примите мои пожелания и уверения в привязанности, которую я питаю к вам от всей души.

Б[аронесса] К[рюденер]

По виду—это исповедь, в действительности—литературное упражнение. Похвала Сен-Пьера крюденовским начинаниям сказана в этом автопортрете, сделанном по образцам одного из излюбленных светских жанров французской беллетристики—«литературного портрета». Крюденер явно затратила на свое изображение много труда: она сдавала Сен-Пьеру очередной экзамен. Ее портрет банален, но тщательно выписан; ему придано правдоподобие личных черт и свойств; думается, что Крюденер не забыла о нем и позднее, как о черновике для беловика будущей своей «Валерии». Но, поскольку это имело вид и назначение письма, в нем должно было содержаться нечто, что могло быть принято Сен-Пьером за ответ. Такие кусочки были, но они были мало обнадеживающими: наши души соприкоснулись,—но сотни миль разделяют нас; я могла бы быть счастлива возле вас в сельском уединении,—но я предназначена, увы, для другой жизни, ибо связана с человеком, который... и т. д. Ответное письмо Сен-Пьера обнаруживает, что он насторожился. Ему не было и не могло еще быть что-либо ясно, но какие-то сигналы он уже улавливает.

(4)

[Париж, 5 марта 1790 г.]<sup>40</sup>

У меня прибавилось вдвое занятий, вследствие необходимости приступить за переиздание разошедшегося IV тома моих «Этюд о природе»<sup>41</sup>, а переписка моя разрослась до такой степени, что нечего и помышлять справиться с ней: однако, я всё бросаю, чтобы ответить вам. Ваше письмо

доставило мне чувствительное удовольствие; оно рассеяло несколько тучек меланхолии. Картина счастья небезразличных мне людей меня восхищает. Мне кажется, что вижу вас под прекрасным небом Лангедока, с детьми, занятою их радостями. Счастье—только в законах природы. Я удивляюсь, что г. фон Крюденер может еще задерживаться в Дании. Ах! Если бы половина существа моего находилась в окрестностях Монпелье, я быстро покинул бы Париж. Вы приглашаете меня стать несколько ближе к вашему обществу, чтобы руководить вами, как выразились вы: вы скоро заставили бы сбиться с пути своего проводника! Ваше письмо тронуло меня, слишком тронуло, — дружба ваша слишком нежна для моего счастья!

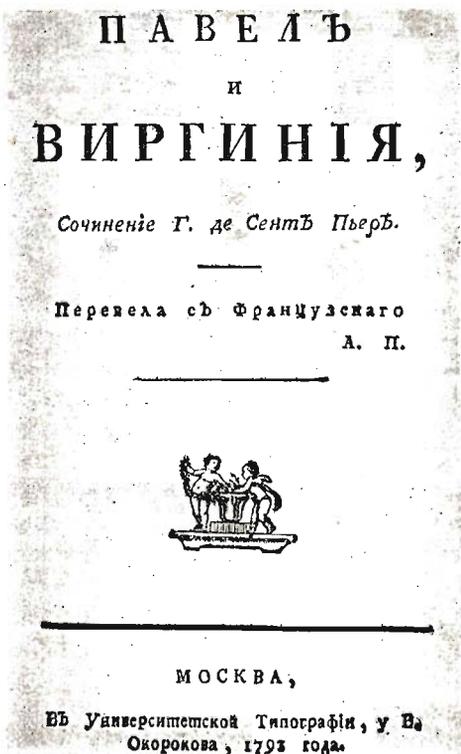
Ваше письмо принесло мне весну: в день его получения, 1 марта, я нашел у себя в саду цветущую фиалку. Цветет у меня и абрикосовое дерево. Мне было бы очень приятно мое уединение, если бы его не слишком нарушали. Только-что ушла от меня красавица, маршальша Франции, которую привела ко мне, без предупреждения, одна из ее приятельниц. Это супруга маршала де Муши. Они собираются еще привести ко мне своих друзей и подруг. Всё это—большая честь, но она ставит меня в необходимость нанять какую-нибудь хижину в окрестностях Парижа, дабы иметь хоть немного свободного времени для работы. Независимо от нового издания IV тома, я хочу переиздать свое «Путешествие на Остров Франции» со значительными дополнениями<sup>42</sup>. Я добавлю несколько происшествий из моей жизни. Пусть тогда приходят посетители и письма, — раз меня нет, я не обязан отвечать на них. Делаю, однако, исключение для ваших писем, и дабы они доходили до меня там, где я буду, адресуйте их, пожалуйста, на имя г. Менар де Конишара, почт-директора, улица Шоссе д'Антен, Париж. Они будут доставляться мне быстро и верно.

Вы уже не найдете баронессы д'Андре в Авиньоне. Она в Карпантра, откуда я недавно получил от нее письмо, но я беседовал о вас в Монпелье с одним недавно женившимся врачом, по имени Гэ; он весел, как его имя, остроумен, забавен и сумеет сделать для вас пребывание в Монпелье еще более приятным. Мне хотелось бы пополнить чем-нибудь ваши удовольствия и в вашем лице отблагодарить деда вашего, фельдмаршала Миниха, за те знаки дружбы, которые он оказал мне в России<sup>43</sup>. Но, любезный друг мой, я всего только бедный отшельник. В сделанном вами описании своих мнимых недостатков я узнал черты характера вашего знаменитого деда, сложившиеся под влиянием несчастий и философии. У вас—его возвышенный ум, его твердость, его мужество, и все это привито к сердцу прелестной женщины. Природа любит скрещивать характеры в полах, чтобы возникали очаровательные контрасты и гармонии. Эти-то наследственные вкусы и вызвали у вас желание дорожить своим временем, презрение к суетности большого света и к мелким светским дрязгам, уважение к великим памятникам древности, простым, благородным и мудрым, как вы их называете. Это не мешает вам любить розы и фиалки. Любите же немножко и меня, и если во время путешествия вам встретится женщина, обладающая характером хоть немного родственным вашему, у которой сердце свободно, расположите ее ко мне, чтобы мы могли однажды соединиться и чтобы я нашел то счастье, о каком вздыхал всю жизнь.

Вот, любезный друг, порученье, которое я возлагаю на вас, вместе с порученьем поцеловать за меня ваших детей. Мне хочется также, чтобы они, в свою очередь, поцеловали вас, во имя моей дружбы. Сообщайте

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОВЕСТИ БЕРНАРДЕНА ДЕ  
СЕН-ПЬЕРА „ПАВЕЛ И ВИРГИНИЯ“, 1793 г.

Перевод А. Подшиваловой



мне о себе возможно чаще. Ваши письма рассеивают мою меланхолию, потому что вы проникаете до самых глубин моего сердца.

Вы мыслите, как я, ибо страдали, как я. Делитесь со мной всеми своими горестями, а я сделаю все зависящее, чтобы их облегчить. Очень надеюсь, что вы поделитесь со мной также радостями и пришлете мне новое описание пейзажа Монпелье, с каждой минутой становящегося все прекраснее. Во время ваших трапез под лаврами и миндальными деревьями приглашайте в память обо мне какого-нибудь бедного ребенка, а я, если найду какую-нибудь бедную белокурую девочку с голубыми глазами, обещаю, в свою очередь, угостить ее завтраком в память о вас.

Желаю вам как можно скорее восстановить свое здоровье—не для того, чтобы вернуться в северный климат, но чтобы навсегда остаться с нами. Вы осчастливите этим г. фон Крюденера, который, несомненно, не знает Франции, и в то же время станете содействовать моему счастью, ибо я буду думать, что в моем отечестве прибавилась еще одна добродетельная семья и что вам самой нечего больше желать.

С истинной преданностью остаюсь, любезный и уважаемый друг мой, покорнейший и готовый к услугам слуга ваш и друг

Сен-Пьер

Четверг, 5 марта 1790 г.

Простите за торопливость моего письма: я писал его в спешке, и меня несколько раз прерывали.

Ответа Крюденер, да и вообще следующих ее писем к Сен-Пьеру в архиве нет; мы должны впредь судить о них по письмам самого Сен-Пьера да

по нескольким пояснениям и цитатам, наличествующим в биографии Эй-нара. Очередное письмо Сен-Пьера содержит как раз нужные ссылки,— они свидетельствуют, что Крюденер писала о трех вещах: во-первых, в общественном плане, об авиньонской революции, приведшей, в дальнейшем, к отложению Авиньона от папы и к воссоединению с революционной Францией; Крюденер побывала в Авиньоне, наблюдала происходящее и, видимо, выразила удивление, что авиньонцы променяли фискальные преимущества, которыми пользовались, на перспективы гражданской свободы. Далее, в письме была новая картинка природы, преподносимая Сен-Пьеру в литературном плане; Сен-Пьер откликается на это цитатой в первых же строчках своего ответа; несомненно, куском этого именно описания является отрывок, приводимый Эйнаром «в качестве образца ее первой манеры»: «Мы ходили с аббатом по горам, покрытым тмином и майораном... и я карабкалась на недоступнейшие крутизны... Одним из лучших удовольствий моих было наблюдать прекрасные эффекты света, живую алость неба, на которой вдали вырисовывалась темная зелень кипарисов, чьи спиральные формы имеют меланхолический характер... Я побывала в Авиньоне, ...я поспешила посетить Воклюз; печальный вид растрескавшихся скал, темные цвета мхов, редкое пение одинокой птицы—все соответствовало состоянию души моей, все привязывало меня к этим местам, и звуки Петрарки естественно примешивали к этой картине нечто от той страстной неистовости, какой ознаменованы волнения в глубочайших тайниках сердца». Это подготовляло третью часть крюденеровского письма. Крюденер подводила дело к объяснению того, что с ней происходит. Она готовит Сен-Пьера к чему-то, или, по сен-пьеровской цитате,—собирается ему открыться и взять его в судьи. Этим туманным предупреждением она ограничивается. Но и Сен-Пьер теперь считает словно бы нужным не проявлять особого нетерпения. Ответ Сен-Пьера последовал только через полтора месяца после предыдущего его письма.

(5)

[Париж, 29 апреля 1790 г.]<sup>44</sup>

Ваше письмо, любезный друг, сильно огорчило меня. Как! Вы кашляете кровью, и причиной тому ваши писания? Я не осмелюсь больше просить у вас изображений наблюдаемых вами местностей, которые вы делаете с такой естественностью. Вы перенесли меня на берега Роны и в Воклюз. Я отсюда вижу меланхолический зеленый дуб, выглядывающий тут и там из-за диких смоковниц. Я слышу глухой рокот потоков и редкое пение одинокой птички. Я вижу вас сидящей среди ваших милых деток, на обломке скалы. Скала—это хорошее слово для вас, которая чувствительнее Лавуры.

Впредь говорите мне только о себе. Именно это особенно вам удастся. Не стану говорить вам о впечатлении, производимом на меня теми местами в ваших письмах, где вы пишете о себе. Вам хочется, говорите вы, открыться мне и взять меня в судьи. Вы, значит, хотите поработить все силы моей души? Чувствительный друг мой! Если какая-нибудь тайная печаль гнездится в вашем сердце, как червь, подтачивающий розу, весь пыл моей дружбы обращаю я на то, чтобы избавить вас от этого. Не бойтесь, что дружба эта может ослабнуть. Я люблю вас за то, что вы добры, что любите своих детей и природу, к которой стремитесь с такой непосредственностью. У вас не может быть никакой вины предо мною,

кому вы ничем не обязаны. Если какая-нибудь давняя страсть, как я предполагаю, является тайной причиной вашей меланхолии, я попытаюсь рассеять ее своими советами. Я осушу ваши слезы и постараюсь издалека сделать то, чего не осмелился бы сделать вблизи.

Хотя здоровье мое не из лучших и я отягощен своими занятиями и пр., хотя каждую неделю меня осаждают новые письма и посетители, не оставляющие мне, несмотря на все мои усилия, досуга для других занятий,— мне все же хотелось бы осуществить при вашем содействии один проект, уже давно задуманный мною: я хочу написать книгу, в дополнение к «Полю и Виргинии», взяв для этого в глубине Сибири несколько интересных фигур, живущих счастливо, благодаря сердечным привязанностям и философской просвещенности. Уже много лет тому назад я составил канву для такой книги. Я не нахожу для нее более подходящих героев, чем ваш дед, фельдмаршал Миних, и его достойная супруга, так доблестно сопровождавшая его в изгнание<sup>45</sup>. Если мысль эта вам по душе, то доставьте мне по собственному выбору какие-нибудь материалы о фельдмаршале, о месте его ссылки, о том, что производят в Сибири, и т. п.; я попытаюсь описать глубокое несчастье человека, который любил меня и которого я любил,—и его внучку, которую я люблю еще больше,—ибо я придам ваш характер и даже ваш внешний облик его супруге. Книга будет изобиловать контрастами: между величественною судьбою и одиночеством обездоленного изгнанника, который видел у ног своих всю Российскую империю и видел империю Оттоманскую на краю гибели в результате своих побед; между ужасной сибирской зимой и теплой страной, где живет его любезная внучка. Но вы несколько не будете страдать от этого. Я всячески буду заботиться о вас, даже в тисках лишений. Разве вы не чувствуете в себе достаточно сил для того, чтобы жить счастливо с предметом вашей любви среди сосновых и березовых лесов? И разве это казалось бы вам плохим убранством, если бы вы были одеты только в горностаи? На мхах севера вам, по крайней мере, было бы мягче сидеть, чем на скалах Воклюза. Если вам предпочтительно другое, я изображу вас маленькой девочкой, с голубыми глазками и русыми волосами, на которую не нарадуется дед. Но так как у вас есть сердце и вы не были бы в состоянии оставаться без любви даже во льдах севера, то вы должны мне сказать, каким характером и какой наружностью должен быть наделен ваш возлюбленный, дабы он мог внушить вам достойную вас страсть. Вот, добрый друг мой, замыслы, нуждающиеся в вашем одобрении, чтобы я осуществил их. В ожидании, поцелуйте за меня понежнее ваших деток, и пусть они вернут вам поцелуй для меня. Сам бы я не посмел это сделать, потому что очень хорошо помню, как при нашем расставании, когда я хотел поцеловать вас, вы отвернулись и мне удалось коснуться губами лишь ваших волос. Итак, вы любите меня только, как поверенного ваших тайн? Примите всяческие пожелания счастья! Сообщайте мне о себе всё самым подробным образом и простите, что сам я пишу вам наспех. Множество незнакомых лиц пишет мне со всех сторон. Порой это письма в стихах и в прозе от некоей очень умной дамы из Кемп-Корентена, порой—от какого-то философа из Лотарингии и т. п. Большого внимания заслуживают письма от несчастливцев, которые, видя мой интерес к роду человеческому, думают, что я должен интересоваться и каждым индивидуумом в отдельности, а так как кредита у меня нет, то я бросаюсь в хлопоты, и одно письмо заставляет меня писать семь-

восемь. Я говорю вам о трудностях только одной недели. Я чувствую себя счастливым, когда добиваюсь успешного итога. Как раз теперь я испытываю это в связи с просьбой одной новообращенной католички, предки которой, вследствие отмены Нантского эдикта, потеряли ренту в 150 000 ливров и которая ходатайствовала о жалкой пенсии за счет экономатов<sup>46</sup> и о ежегодном пособии за счет королевской лотереи. Мне приходится также помогать бедным родственникам, а выплата мне пенсии несколько задерживается, да, к тому же, самая эта пенсия очень скромна по сравнению с пенсиями многих литераторов. По счастью, нашлось немного воды в собственном моем колодце. То, что вы мне говорите об авиньонской революции, несколько меня не удивляет: если тамошний народ был счастлив, не платя денежных налогов, то был несчастен вследствие налога на совесть. Авиньонец обязан был говеть и предъявлять удостоверение о том, что был у причастия, причем это удостоверение приходилось покупать, если человек считал, что следует воздержаться от принятия святых даров. Все это неизбежно порождало недобросовестность, которая извращала душу. Иго инквизиции является причиной того, что город Авиньон, расположенный под таким прекрасным небом, почти лишен населения, что вы имели возможность заметить<sup>47</sup>.

Прощайте, мой достойный друг: у меня нет больше бумаги. Как бы мне хотелось вскоре получить более утешительные вести о вашем здорье.

Париж, 29 апреля 1790 г.

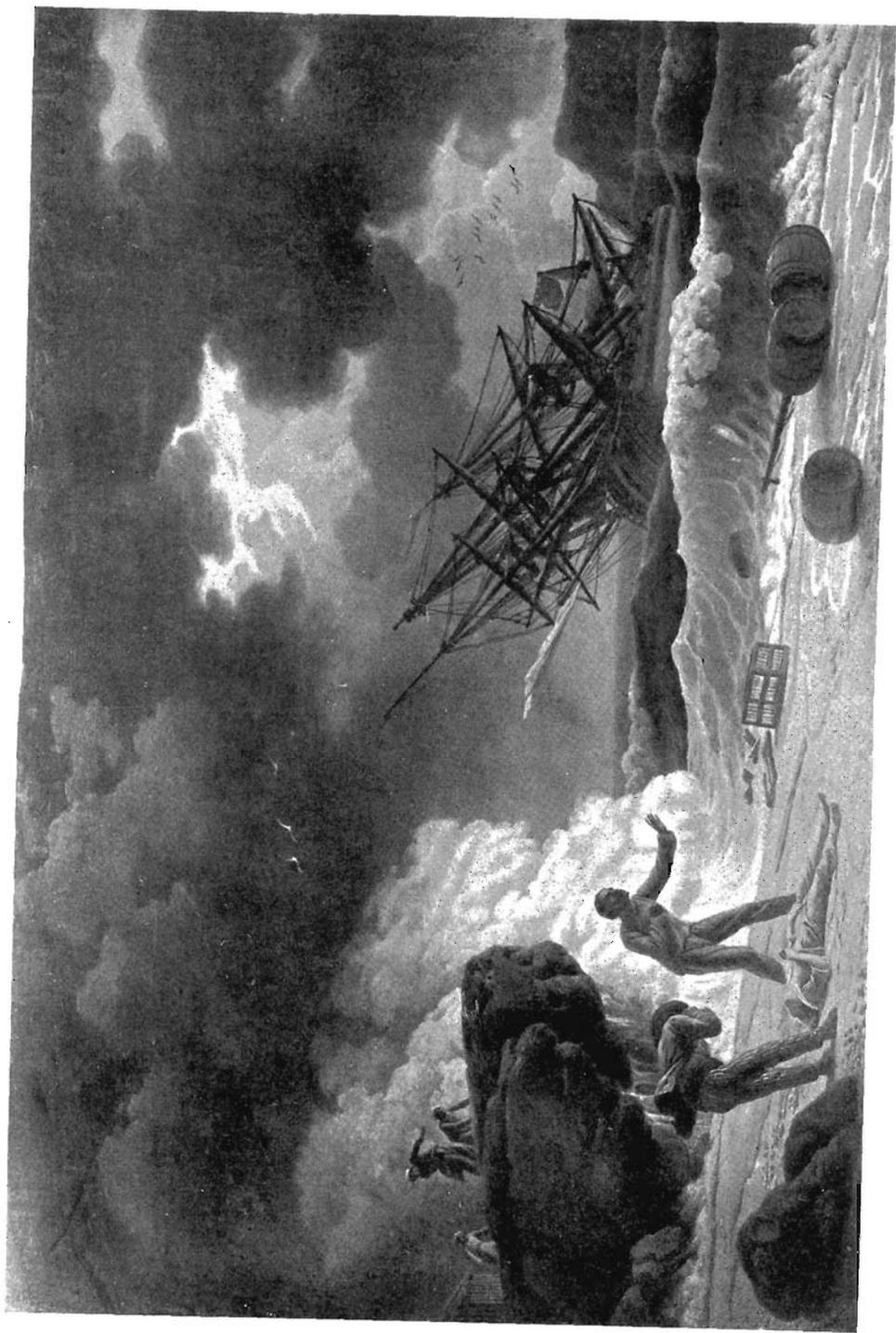
Ваше последнее письмо было написано на меньшем листке бумаги, нежели предыдущие. Не болезнь ли ваша тому причиной?

В ответном письме, пришедшем через полмесяца, в середине мая, Крюденер давала понять, что захвачена влечением к некоему человеку, что чувством своим она несчастна, но что говорить об этом даже с преданнейшим другом ей трудно. Отношения с Сен-Пьером были этим предопределены. Его ответ был недлинен; за комплиментарными вежливостями проступали новые ноты. Помощи Сен-Пьер больше не предлагает, от исповеди удерживает, о себе говорит скупко. Среди немногих строк о собственных делах есть, однако, нечто, останавливающее внимание: сен-пьеровское общественное самочувствие изменилось; его революционный «энтузиазм», как преувеличенно назвал его благодущие Эйнар, за несколько месяцев, по мере обострения революционной борьбы, вполне остыл. В Париже теперь Сен-Пьеру настолько не по себе, что он надумал перебраться в деревню. Действительно, в этом же самом июне 1790 г. он дал поручение приискать ему убежище в Бургундии<sup>48</sup>; затем, однако, принял решение не трогаться с места. Письмо к Крюденер красноречиво излагает причины.

(6)

[Париж, 8 июня 1790 г.]<sup>49</sup>

Я не мог, достойный и уважаемый друг мой, ответить на ваше письмо от 16 мая так скоро, как мне того хотелось. Оно доставило мне одновременно огорчение и удовольствие. Я усмотрел из него, что вы несчастливы и собираетесь доверить мне некую важную тайну. Меня поразило тогда высказанное вами размышление о вашей чистосердечности, предохраняющей вас, как вы говорите, от ужасных мук раскаяния в том, что



СМЕРТЬ ВИРГИНИИ  
Картина маслом Клода Верне на сюжет повести Бернарден де Сен-Пьера «Поль и Виргиния», 1789 г.  
Эрмитаж, Ленинград

вы легкомысленно предались дружбе и доверию. Жертвой этого раскаяния, как вы даёте мне понять, пришлось бы сделаться не мне, а вам самой. Раз так, не заходите дальше. Возможно, что вы стали бы когда-нибудь упрекать себя в излишней откровенности, без нужды сделались бы причиной того, что и я стал бы упрекать себя в усилении вашего горя, хотя желал лишь утишить его. Пусть же никогда не стану я для вас причиной беспокойства! Мое уважение и дружба, которым вы как будто придаете некоторое значение, всецело принадлежат вам. Вы обязаны ими вашим материнским добродетелям, вашей чувствительности к несчастным, вашим страданиям и тому самому доверию, какое вы мне выражаете.

Сердце ваше, как вы очень хорошо говорите,—это вулкан, извергающий лаву, пепел и горную смолу в облаках густого дыма, и этот вулкан вполне мог бы опалить своим огнем неосторожного философа, который из любопытства приблизился бы к его кратеру. Я бы побоялся оставить там свои туфли, как Эмпедокл. По счастью для себя, я нахожусь на изрядном расстоянии от этого вулкана. В нынешнем году мне нечего и думать о каком-либо путешествии, так как я все время занят печатанием 4-го издания моих «Этюд», разошедшийся IV том которых я только-что переиздал<sup>50</sup>. Это необходимое начинание поглощает все мое время и весь мой доход. Я не снял маленького домика за городом, как предполагал. Я искал покоя в деревне, но умы там возбуждены еще сильнее, чем в Париже. Поэтому я пытаюсь создать себе внутреннюю Швейцарию, куда могла бы удалиться моя душа. Я нахожу там убежище в философии естественных благ, о которых я столь тщетно вздыхал и в которых отказала мне судьба. Меланхолия моя не причиняет там никому вреда, а я рассеиваю ее планами счастья, которые строю в своем воображении больше для других, чем для себя.

Мне бы очень хотелось придумать такой план, который во всех отношениях был бы подходящим для вас. Впрочем, вы сохранили для себя лучшее, что для этого нужно: веру в бога и благотворение к людям. Если друг ваш не может разделять ваших наслаждений, он вникает, по крайней мере, в ваши горести, и лишь для того, чтобы не умножить их, хочет он избавить вас от беспокойства, наступающего за преждевременными признаниями. Вы поступите в данном случае так, как сочтете наилучшим для своего спокойствия; однако, примите во внимание, что вы можете нарушить мое. Желаю вам душевного покоя и мира, этих первых благ души после наслаждений, столь часто нарушаемых. Весьма рад узнать, что нездоровье ваше было легким; не сомневаюсь, что соблюдаемый вами режим совершенно излечит вас. Повидимому, в Ниме вам нечего опасаться беспорядков, потрясающих часть южных провинций<sup>51</sup>. Сообщите мне о своих развлечениях,—вы описываете их с таким простосердечием. Я наслаждаюсь ими в моем уединении, и если вы полагаете, что, поверяя мне свои горести, вы облегчаете их этим, то будьте уверены, что, сколько бы это мне ни стоило, доверие ваше никогда не ослабит того уважения и привязанности, какие питает к вам искренний друг ваш.

Париж, 8 сего июня 1790 г.

Почта торопит меня, и я поспешил воспользоваться минутой, чтобы написать вам, равно как и моей сестре, которой я успел намарать только одну страницу. Я только-что вернулся из своего сада, где видел на розе

шпанскую муху. Сперва я залюбовался этим очаровательным контрастом: можно было бы сказать, что это изумруд, вправленный в коралловую чашу; но затем мне пришла в голову одна мысль, и я сказал себе: такова красота, скрывающаяся в груди своей грызущую ее страсть, и она обязана пожирающему ее врагу даже новыми прелестями. Красота—это роза, а любовь—шпанская муха. Я поставил розу вместе с мухой на камин: у меня нехватило сил разлучить их. Будьте же добры и гоните из сердца далекие воспоминания, унесенные временем. Не приносите на смеющийся юг черных забот севера.

*Адрес:* Баронессе фон Крюденер,  
у г. Коста, биржевого маклера,  
в Монпелье

Переписка оборвалась на несколько месяцев. Крюденер молчала, Сен-Пьер не находил нужным просить вестей. Через четыре месяца он получил снова письмо. Оно содержало очередное описание картинок природы, извещало об очередном заболевании и выздоровлении, свидетельствовало о жизнерадостном самочувствии, осыпало Сен-Пьера нежностями и ни словом не поминало о произошедшем. Следовало предполагать, что все миновало. Видимо, это было так. Человек, которого она не назвала Сен-Пьеру, занимал ее недолго и не принес ей радости. Эйнар говорит об этом эпизоде в такой форме: «Вернувшись в Монпелье, она нашла там графа Адриана де Лезэ-Марнезиа, брата графини Богарнэ, привлеченного туда страстной любовью к ботанике. Он часто бывал у г-жи Крюденер»<sup>52</sup>. Отвечая на это письмо, Сен-Пьер избегает касаться произошедшего, он занят преимущественно собственными делами.

(7)

[Париж, 23 сентября 1790 г.]<sup>53</sup>

Я впал в сонливость от сильной простуды, заставившей меня шесть дней не выходить из комнаты, но вот пришло ваше письмо и вывело меня из моей летаргии. Друг мой, вы перенесли меня в Пиренеи: я увидел остов этой большой мертвой горы посреди долины. Меня пленяют Жедро и паломницы в красных повязках среди зелени; но, что еще больше доставило мне удовольствия, чем горы и водопады Пиренеев,—это глубина вашей кроткой, возвышенной и нежной души. Наконец-то вы здоровы, здоровы и ваши дети, вы счастливы—и я доволен.

Не знаю, почему вы говорите, что вам нужно заинтересовать меня и что вы хотите, чтобы я приобщил вас к своим радостям и горестям. Не для того ли, чтобы нарушить ваше счастье? Удовольствие состоит для меня в лишениях. Как можно жить спокойно в стране, где все благосостояние людей пошатнулось и где все общественные группы заражены духом партийности? До революции у меня было много друзей, но теперь одна половина этих друзей готова истребить другую.

Всюду я слышу жалобы и проклятия; правда, не я являюсь объектом их, но я должен их выслушивать, как ни мало появляюсь в свете. Да к тому же, что это за друзья? Я же всегда жаждал иметь, согласно законам природы, только одного друга, но тщетно преследовал эту мечту! То я не могу обладать существом, которое подходит мне, то я не подхожу ему; когда же обстоятельства спо-

собствуют, казалось бы, тому, чтобы соединить нас, оказывается, что я—игрушка иллюзии и вероломства. Это требовало бы обстоятельного комментария... И вот, поскольку мне не дано быть счастливым, я довольствуюсь тем, что препятствую себе быть несчастным. Я призываю себе на помощь изречение Эпиктета: *abstine et sustine*<sup>54</sup>; я создаю себе собственные Пиренеи, куда спасаюсь в общество людей, возвращающихся столь же невинными в руки творения, какими они из них вышли. Порою пребывание с ними кажется мне опасным, а добродетель той, кто описывает мне их прелести, проявляется с такой чувствительностью и так очаровательно, что собственная моя добродетель приходит в смущение. Я нашел восхитительные радости в созерцании природы, но душе моей не дано крыльев орла. Она, как насекомое, летает только над травой, если же иногда ей доводилось сиять небесным светом, это не она возносилась к божеству, но божество нисходило к ней.

Вот, любезный друг мой, всё, что я могу сказать вам о себе. Когда моя голова тяжела от простуды, то и ум тоже. Если бы вы были здесь, я прочел бы вам несколько отрывков из моих произведений, чтобы посоветоваться с вами. Вы и впрямь можете сказать, как нужно исправить их, да и меня самого заодно. Я—живописец. Уверяю вас, что письмо ваше, не говоря о нескольких небольших стилистических погрешностях, показалось мне полным возвышенных мыслей. Еще больше предпочитаю я им ваши чувства. Сохраните же для меня место в своей памяти. Я не воспользуюсь вашими выражениями. Я не осмелился бы этого сделать, ибо они выражают то, что я чувствую. Вы же, думаю я, пользуетесь ими по причине противоположной.

# И Н Д Ъ Й С К А Я Х И Ж И Н А ,

Сочиненіе

*Г. де Сентъ-Пьера.*

Перевела съ Французскаго  
*К. С.*



МОСКВА,

ВЪ Университетской Типографіи,  
*у Ридера и Клаудіа.*

1794.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ НА  
РУССКОМ ЯЗЫКЕ „ИНДИЙСКОЙ ХИЖИНЫ“  
БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА, 1794 г.

Перевод Ек. Свинойной

Подробности о жизни фельдмаршала Миниха будут мне теперь вдвойне интересны. Если его мемуары не очень объемисты, то прошу вас доставить их мне по тому же адресу, по которому вы посылаете письма<sup>55</sup>. Однако, я не беру на себя обязательства работать над ними в настоящее время, потому что завален собственными своими делами и бесконечной перепиской. Я имею в виду не вас: это для меня отдохновение. Я получил, наконец, жалобную песнь Поля на могиле его подруги. Она помещена в одном из последних номеров «Mercure». На нее написана превосходная музыка. Мне обещали несколько экземпляров. Отложу для вас один, если вы любите музыку<sup>56</sup>.

Прощайте, уважаемый друг мой. Целую ваших детей и милую пиренейскую ботаничку. Не могли ли бы вы прислать мне какой-нибудь цветочек—анемону или другой,—я бы стал растить его на окне и назвал бы вашим именем!

Париж, 23 сего сентября 1790 г.

Адрес: Баронессе фон Крюденер  
в Монпелье.

До востребования, при ее проезде

Между этим письмом и следующим от Крюденер пришло еще два послания. На первое Сен-Пьер не ответил; это не помешало ей прислать второе. Она лишь усилила дозу комплиментов; вероятно, именно во втором письме было то упоминание о власти сен-пьеровских писаний над сердцами, которое цитирует Эйнар: «Нет, вы не были бы нечувствительны к этому влиянию, к этой власти, с какой ваш гений господствовал над душами, к этим порывам, которые воздавали вам честь, и к этим слезам, которые текли из всех глаз»,—писала она Сен-Пьеру, сообщая об эффектах своего чтения вслух «Поля и Виргинии» обществу в Монпелье. Суть же обоих писем состояла в извещении, что она намерена переменить местопребывание. Сначала она указала Ниццу; второе письмо сообщало, что приходится ехать в Париж. На это второе письмо о скором свидании Сен-Пьер ответил в тот же день коротко и даже несколько натянуто.

(8)

[Париж, 5 декабря 1790 г.]<sup>57</sup>

Я получил, любезный друг, ваше письмо, извещающее меня о вашем отъезде в Ниццу, в то время как я с часу на час ожидал вашего приезда в Париж; а сегодня от вас пришло письмо с известием, что вы едете в Париж, в то время как я сожалел о том, что вы в Ницце. Много причин помешало мне ответить вам. Первая та, что я был болен рожей, отчего у меня облупилась вся кожа на лице вплоть до ушей, и мне пришлось целых три недели не выходить из комнаты. Благодарение богу—единственному моему врачу, ныне я здоров. Вторая причина, вынудившая меня отложить письмо к вам, заключается в множестве моих писаний, усугубленных еще печатанием маленького произведеньица под заглавием «Индийская хижина», которое я только-что выпустил в свет<sup>58</sup>. Я рассчитывал послать вам его, но теперь буду иметь удовольствие вручить его вам лично. Присоединю к нему также романс и музыку «Поль на могиле Виргинии», издание которого, из-за формата in-folio и картонного переплета, одинаково затруднительно было послать как через экспедиционную контору, так и по почте.

СЦЕНА ИЗ ПОВЕСТИ БЕРНАРДЕНА  
ДЕ СЕН-ПЬЕРА „ПОЛЬ И ВИРГИНИЯ“  
Фарфор завода Сафронова, 1830-е гг.

Музей керамики, Кусково



Вы преувеличиваете здешние холода. До сих пор у нас только шли дожди, и, повидимому, остаток зимы будет теплым. Вы страдаете болезнью людей чувствительных—меланхолией. Париж заслуживает внимания философа, и там найдется для вас чем занять душу. По своей привычке говорить и выслушивать любезности, вы делаете мне слишком лестные комплименты. С самым нежным участием увижу я вновь вас и ваших детей, которых прошу поцеловать за меня.

Думайте же о том, как восстановить свое здоровье, и выбросьте из головы все те страхи зимы, которые вашему воображению, только-что прогуливавшемуся по южным провинциям, угодно распространять и на наш климат. Подумайте, что солнце светит для всего мира, а если зимой и бывает несколько студенох дней, то тем теплее покажется вам приближающаяся весна. В моем саду до сих пор цветут примулы, и я надеюсь поднести вам несколько цветков, когда вы приедете. В ожидании, благоволите принять уверения в моей дружбе и в желании увидеть вас под небом Парижа такой же довольной и счастливой, какой вы были под небом Монпелье. У меня времени лишь столько, чтобы запечатать письмо, так как необходимо отвечать на кучу писем еще других лиц, правда, не столь занимающих меня, как вы.

Париж, 5 сего декабря 1790 г.

Адрес: Баронессе фон Крюденер,  
у господина Коста, биржевого маклера,  
в Монпелье

Крюденер пробыла в Париже полгода; она, несомненно, встречалась с Сен-Пьером, однако, встречалась с ним едва ли сколько-нибудь часто. Биографы, во всяком случае, не упоминают об этом, а то, что мы знаем

о крюденеровских делах, исключает возможность какого-нибудь устойчивого интереса ее к Сен-Пьеру в это время. Она уже опять была в сердечной грозе и буре, самой большой в ее жизни; даже Эйнар не решился обойти эпизод, который был, действительно, и шумен, и драматичен, протекал у всех на глазах, осложнялся семейными и общественными событиями и ставил Крюденер в очень трудное положение. Интересующимся людям она отвечала, что «счастлива, как никогда на свете»<sup>59</sup>; действительность была грубее. Герой, гусарский офицер де Фрежвиль, ультрароялист и бретёр, обращался с влюбленной, мягко говоря, небрежно; супруг из Копенгагена требовал прекращения скандала, бесчестившего его посольское имя. Ее выбросило из Парижа политическое событие первостепенной важности—вареннское дело, неудача королевского бегства за рубеж в июне 1791 г. У Крюденер оказались основания считать себя задетой крахом этого предприятия; была ли она связана сама или через Фрежвиля с людьми, организовавшими побег, установить нет данных; Эйнар вскользь упоминает о крюденеровских сношениях с г-жой Корф, предоставившей, как известно, свой паспорт для коронованных беглецов. По смятению, охватившему русского посла Симолина, когда выплыла на свет российская доля участия в механике затеи, и по его сообщениям о возбуждении парижских масс против него самого и других вольных и невольных пособников<sup>60</sup>, надо считать, что страх Крюденер и ее побег из Парижа вместе с Фрежвилем, переодетым в лакея, были достаточно обоснованы. Выбралась она благополучно,—но на этом ее удача кончилась; пошли блуждания по городам Европы; безденежье, долги, болезнь Фрежвиля, ультиматум супруга, унижительность положения, представлявшегося ей безвыходным. Среди этих тягот она вспомнила о Сен-Пьере; она написала ему; со времени последней их переписки прошел год. Сен-Пьер ответил; на сей раз по его ответу нельзя судить, о чем писала Крюденер: видно лишь, что жаловалась на здоровье. Об остальном Сен-Пьер не упоминает. Его ответное письмо говорит лишь о собственных его издательских и личных делах, с малой придачей общепринятых пожеланий адресатке.

(9)

[Париж, 16 декабря 1791 г.]<sup>61</sup>

Я с грустью узнал, уважаемый друг мой, что ваше здоровье так плохо. Я тем более разделяю ваши страдания, что сам в течение шести недель был тяжко болен, да и теперь все еще только выздоравливаю. Колики и превосходящие их болезненностью страдания нервов<sup>62</sup>—вот мои недуги, которым я противопоставляю свои обычные лекарства—режим и терпение. Прибавьте к этим бедам еще воров, выманивших с помощью фальшивой записки, подписанной моим именем, во время моего отсутствия, мою служанку из дому и пытавшихся взломать дверь, что им, впрочем, не удалось, и смерть моей любимой собачки, которая в одном замке, где я должен был провести несколько дней, отравилась, выпив поставленную на комод в спальней хозяйки дома мышьячную воду для истребления мух. Несмотря на все мои старания, она умерла на моих руках в жестоких муках, и горе заставило меня уехать ночью, на другой же день после моего приезда.

Подобные беды, и, без сомнения, еще более жестокие, обычны, когда ведешь светскую жизнь, потому-то я и молюсь о том, чтобы вы могли жить

где-нибудь в сельском уединении. Такова цель и собственных моих желаний, и я мог бы осуществить ее, если бы согласился на предложения некоторых девиц принять их руку и состояние, что, по моему мнению, является пробным камнем для дружбы женщины, свободной располагать собою.

Однако, я слишком много говорю о себе. Не могу ли я дать вам советы, которые были бы полезны вам в настоящем вашем положении? Но я могу советовать лишь то, чем пользуюсь сам. Изучение природы, хотя бы лишь в изображении, мирит с человеческой натурой. Письма, которые вы так расположены писать, все-таки еще скрашивают житейские заботы. Если вы боитесь утомить свои нервы, сочиняя какое-нибудь произведение, то займитесь переводом. Как лестно было бы мне услышать, что «Поль и Виргиния» или «Индийская хижина» переведены на немецкий язык! Или же, чтобы это стало доступным и мне, переведите на французский язык одно из исполненных чувства произведений, написанных на вашем языке, если только те отрывки, которые вы мне сообщили, не обязаны всей своей прелестью вам одной. Так и пройдет для вас плохое время года, пока солнце не вернет туманному Копенгагену ясности и тепла Италии. Оно уже близится к вам, и астрономический год начался. Пусть поскорее вернет он вам светлые дни и зелень, по которой вы тоскуете. Я рассчитываю, что эти пожелания дойдут до вас, по крайней мере, к началу гражданского года. Благоволите принять также мои пожелания вашим милым детям, воспитание которых является первейшим вашим удовольствием. Я вынужден закончить это письмо, так как занят печатанием продолжения «Пожеланий отшельника» и «Индийской хижины», чтобы пополнить V том моих «Этюд», который должен появиться в начале года<sup>63</sup>. Я предпринял этот труд, чтобы выполнить свой гражданский долг, так как я становлюсь жертвой подделок, которые



СЦЕНА ИЗ ПОВЕСТИ БЕРНАРДЕНА ДЕ СЕН-ПЬЕРА „ПОЛЬ И ВИРГИНИЯ“  
Фарфор завода Киселева, 1840—1850-е гг.

Музей керамики, Кусково

со времени революции разрушают книжное дело, причем закон не решается пресечь их. Я пришлю вам это дополнение, как только будет оказия, вы же доставите мне удовольствие, уведомив о его получении. Надеюсь, что там найдутся страницы, которые вам понравятся. Вы доставите мне величайшее удовольствие, сообщив свое мнение, а если могли бы присоединить еще немецкий экземпляр «Поля и Виргинии»,—это было бы сладостной наградой за мои труды, стремящиеся вызвать интерес у людей всех стран<sup>64</sup>.

Да призовет их к законам природы общий их отец! Тогда у всех них будет один язык. А пока да прострутся над вами все благословения его!— таково пожелание вашего друга.

Госпожа де Вайян намеревается продать свой превосходный кабинет птиц; она пожелала, чтобы я сообщил вам об этом, в предположении, что это, может быть, заинтересует ваш двор.

Париж, 16 сего декабря 1791 г.

Астрономический год еще не начался, но до него осталось уже немного.

Адрес: Г-дам Шрам и Кестнер  
в Гамбурге,  
для баронессы фон Крюденер

В крюденеровском архиве—это последнее письмо Сен-Пьера; больше и не было. Крюденер еще раз написала ему спустя два года, но не получила ответа. Что побудило ее писать—малопонятно; Эйнар говорит, что «она просила прервать молчание, которое ее беспокоило»<sup>65</sup>. Это—шифр без ключа: повода к беспокойству было не больше, чем все два года; Сен-Пьер жил непоколебленно. Пожалуй, наиболее правдоподобным поводом к ее письму можно считать намерение съездить на лето в Швейцарию, куда она приглашает и Сен-Пьера; это приглашение—единственный кусочек какой-то реальности в ее послании; остальное—поток вздохов, сетований на злосчастия своей судьбы и рассказы о семейной идиллии на прежний лад: «Скажите, дорогой и почтенный друг, нет ли у вас намерения побывать в Швейцарии и повидать эту прекрасную страну?.. Если бы я смела надеяться, что вы захотите провести лето на берегу Женевского озера, эта мысль и сейчас украсила бы мою жизнь, и я бы заклонила вас во имя той подлинной чувствительности, которой полна ваша душа, поехать пожить со мной в маленьком деревенском домике...»<sup>66</sup>. Но вкус к крюденеровским идиллиям у Сен-Пьера, готовившегося в это время вступить в брак с дочерью своего издателя, Фелисите Дидо, давно уже пропал. Он не нашел нужным даже ответить.

Попытка 1793 г. была последней; из поля крюденеровского внимания Сен-Пьер ушел на целое десятилетие. Она снова упоминает о нем мимоходом уже в 1802 г., в одном из парижских писем к своей постоянной напернице, г-же Арман: она сообщает, что «нашла себе помещение в том же доме, где живет мой старый друг, с прекрасным садом, в уединенном квартале...»; она прибавляет: «...у г. де Сен-Пьера очаровательная жена и двое детей...»<sup>67</sup>. Она ошибалась: о событиях в жизни Сен-Пьера она знала уже так мало, что вторую жену его, Дезире Пельпор, приняла за мать сирот, оставшихся после смерти Фелисите; Сен-Пьер был для нее теперь только именем, лишенным жизненной весомости.

## II

Между сен-пьеровской пачкой писем и следующей группой лежит промежуток в десять лет: это 1792—1802-е годы, то есть, на официальном языке Французской революции, I по X годы Республики Единой и Нераздельной, а в действительном содержании—трагический круговорот событий от казни короля до восстановления абсолютизма, в виде пожизненного консульства Наполеона Бонапарта. Старомодная, можно сказать, зажившаяся фигура Бернардена де Сен-Пьера за это время совсем отодвинулась в прошлое; ее заслонили новые герои литературы. Юлия Крюденер, всей природой своего упорного тяготения к сильным мира сего, должна была искать другой опоры. В самом деле, в письмах ее архива появляются теперь два самых крупных писательских имени этой эпохи—г-жа де Сталь и Шатобриан. Они появляются почти одновременно: между письмом г-жи де Сталь и письмом Шатобриана лежит промежуток всего в две недели.

У Юлии Крюденер эти десять лет, собственно, прошли впустую: она много суетилась, но мало чего достигла. Между тем, ей было почти сорок лет; честолюбие ее было голодно, как никогда прежде, а она оставалась все таким же перекасти-полем, как и в 1780-х годах: она набегала, пыталась уцепиться за кого-нибудь, снова срывалась и летела куда-нибудь дальше. Ее итинерарий лихорадочен: в мае 1792 г. она в Риге, в июле—в Петербурге, в октябре—опять в Риге, в феврале 1793 г.—в Берлине, в конце февраля—в Лейпциге, в том же году совсем собралась было в Швейцарию, но задержалась; в 1794 г.—назад к своим, в Ригу; в 1796 г.—опять Германия, далее Швейцария—Лозанна; в следующем, 1797 г.—Женева; с января 1798 г.—снова Германия: Мюнхен, Дрезден, Теплиц, Берлин; в 1799—1800 гг.—Берлин; в 1801 г.—Теплиц, потом Женева, потом Париж; в 1802 г. малозначащее событие—смерть супруга, барона Крюденера, последовавшая 14 июня,—застает ее еще в Париже, но она уже на отъезде и через два месяца срывается в Женеву, а еще спустя несколько недель, осенью, переезжает в Лион, дабы там провести зиму<sup>68</sup>.

Во время одного из этих блужданий, в Швейцарии, и завязалось ее знакомство с г-жою де Сталь. Но когда? Крюденеровский биограф упоминает о визите Крюденер к г-же де Сталь лишь в 1801 г., в Коппе. Однако, первое ли это их свидание? Эйнар пишет: «Один из первых же визитов г-жи Крюденер по прибытии в Женеву [1801] был нанесен г-же де Сталь в замке Коппе. Это свидание, давно ожидаемое, но сначала несколько натянутое, в силу воспоминаний о кое-каких светских соперничествах, скоро стало тем, чем должно было быть, благодаря присутствию г-ж Рилье-Гюбер и Неккер де Соссюр. Г-жа де Сталь быстро устранила неловкость отношений с г-жой Крюденер своей открытой сердечностью, и беседы стали столь же непринужденными, как и занимательными»<sup>69</sup>. Отсюда следует, во-первых, что свидание состоялось не сразу, хотя его и «давно ждали»; во-вторых, что причиной недоразумений были столкновения в прошлом из-за некоего лица. Что это могло быть и когда? С 1792 по 1801 гг. Крюденер проходила через орбиту г-жи де Сталь дважды: один раз она была весной 1796 г. в Лозанне, другой раз, осенью 1797 г., в октябре—ноябре, в Женеве. О встречах в Лозанне Эйнар сообщает, что Крюденер виделась с рядом лиц, в том числе

с г-жой Неккер де Соссюр, г-жой де Шаррьер, с Бенжаменом Констаном; но, оговаривается биограф, как раз г-жи де Сталь в Лозанне не было — она только-что уехала. Не встретились ли обе они в следующем, 1797 г.? Тут дело несомненно, — этого быть не могло: г-жа де Сталь, получив выхлопотанное Б. Констаном у Барраса разрешение жить во Франции, хоть еще и не в Париже, уже на рождестве 1796 г. уехала из Швейцарии сначала в Гериво, потом в Ормессон, а в последних числах мая была уже в Париже и оставалась там весь год<sup>70</sup>.

Таким образом, с Крюденер осенью 1797 г. видеться она не могла. В самом ли деле, как утверждает Эйнар, весной предыдущего года г-жи де Сталь не было в Лозанне, когда там промелькнула Крюденер? Это не бесспорно: пребывание в Лозанне всего «двора» г-жи де Сталь, в особенности Бенжамена Констана, показательно<sup>71</sup>; но возможно, что г-жа де Сталь почему-либо отправилась к себе в Коппе на несколько дней раньше, чем туда вернулась ее свита. Тогда ссора с Крюденер разыгралась заглазно. Но и в том и в другом случае повод мог быть только один: уклончивое выражение Эйнара о «кое-каком светском соперничестве» не могло относиться ни к кому другому, кроме Бенжамена Констана. Оно прикрывает эпизод, который можно охарактеризовать так: в 1796 г., в Лозанне, Юлия Крюденер застала Бенжамена Констана среди окружения г-жи де Сталь и пыталась привлечь его. Отношения между Крюденер и Сталь приняли характер соперничества; как всегда, Жермена одержала верх, но еще спустя шесть лет г-жа Неккер де Соссюр и ближайшая подруга ее, г-жа Рилье-Гюбер, должны были улаживать давний инцидент и открывать ворота в Коппе перед Крюденер, добивавшейся этого визита, который был ей очень важен.

Ей, в самом деле, теперь нужен был не столько друг, сколько помощь г-жи де Сталь. Крюденер решила сделать рычагом столь трудных и всё ускользающих жизненных успехов литературное сочинительство, на которое ее еще издавна толкали небескорыстные похвалы Бернардена де Сен-Пьера. Пример самой г-жи де Сталь манил и обещал, а ее содействие могло стать решающим. В эти годы г-жа де Сталь занимала самый центр литературной общественности; Сен-Пьер уже закатился, Шатобриан лишь восходил. Крюденер понимала, что получить из таких рук благословение на писательство — значило выиграть пол-дела; остальное должны были довершить личные качества самой неопитки: напор, ловкость, реклама, умение нравиться, готовность расплачиваться за услуги и, наконец, некоторое количество заготовленного сырого материала, из которого можно было выбрать что-нибудь пригодное для превращения в литературное произведение. У нее, действительно, было кое-что накоплено: во-первых, были черновики романа «Валерия», начатого еще в Париже, но отложенного; затем она набросала, правда, уже не по сезону, в духе старых сен-пьеровских повестей, в их ритме и стиле, «Хижину под латаниями»; далее, у нее были замыслы повестей в более модном стиле: «Элиза», «Алексис»; наконец, она подобрала стопку афоризмов, под провинциальным названием «Мысли иностранной дамы»; при некотором пересмотре, переделке и отборе, они тоже могли пойти в ход<sup>72</sup>.

Г-жа де Сталь в значительной мере оправдала расчеты Крюденер: она не только ввела ее в самое горнило новых течений, вкусов и мыслей, включила ее в группу своих «собеседников» (это было наиболее важное, ибо Крюденер, как губка, впитывала все веяния), но и оказывала практиче-

скую помощь—представляла нужным людям, давала направление работе, можно сказать, формировала в Крюденер писательницу. Именно ей обязана Крюденер знакомством с молодым Шатобрианом. Видимо, ознакомившись с литературными опытами Крюденер, г-жа де Сталь решила, что использовать запоздалый сен-пьеровский сентиментализм крюденеровского стиля можно, лишь дав ему новый облик, который был связан с Шатобрианом. В художественной литературе 1801 г. был годом «Аталà».



MADAME LA BARONNE DE STAEL.

Г-ЖА ДЕ СТАЛЬ

Гравюра Хопвуда-младшего

Музей изобразительных искусств. Москва

Подражания и пародии, сыпавшиеся со всех сторон, только увеличивали моду на новоявленный талант.

«Вам совершенно необходимо повидать Шатобриана,—заявила г-жа де Сталь Юлии Крюденер,—я вам дам к нему письмо, в котором представлю ему вас»<sup>73</sup>. Госпожа де Сталь сделала больше: в декабре этого же 1801 г., когда обе они были уже в Париже, она оказала Крюденер высшее внимание—пригласила ее прослушать в совершенно интимном кругу первое чтение сенсационной литературной новинки—отрывков из «Гения христианства». Крюдсчер была на обеде у г-жи де Сталь «вместе с гг. Адрианом де Монморанси и Бенжаменом Констаном в тот день,

когда г. де Шатобриан прочел у нее два неизданных отрывка из «Гения христианства», из коих один начинается так: «Свободный, как птица лесная...». Это было событием в ту пору...»<sup>74</sup>. Наконец, г-жа де Сталь давала в своем салоне ход другим крюденовским талантам: у Крюденер был один выигрышный танцевальный номер—так называемый «танец с шалью»; он доставлял ей триумфы в молодости, а теперь был восстановлен не только со светским успехом, но и с литературным: г-жа де Сталь ввела похвалу танцу в произведение, над которым она работала как раз в эту пору,—в роман «Дельфина».

Появление «Дельфины» в декабре 1802 г. и участие, которое не замедлил принять в подготовке литературного успеха г-жи Крюденер целый ряд людей, от Шатобриана в Париже до Камилла Жордана в Лионе, куда баронесса переехала в этом году, развязали выжидательную скромность Крюденер. Теперь она сама занялась организацией победы и меньше всего собиралась считаться с условностями. Рукопись «Валерии» была доверена руководству и советам ряда именитостей: Сен-Пьеру, Шатобриану, Дюсису, Жордану, Жеффруа и др.; ее читают, ее правят, ее перелицовывают; она становится почти коллективным произведением. Над этим смеются современники, знавшие, в какой кухне изготавляла «Валерию» баронесса Крюденер: «Она издала роман, может быть, ею самой написанный»,—иронизирует Бональд в «Journal des Débats» 1817 г.<sup>75</sup>. Подготовка к выходу в свет обставляется так, чтобы получить успех «Дельфины», не накликав в то же время ее опасностей. Именно в этот решающий период Крюденер пускает в ход тот самый «шарлатанизм» (это ее слово: «для всего есть свой шарлатанизм!»<sup>76</sup>), который и сейчас приводит в изумление читателя: будущая писательница заказывает стихи в честь себя, оплачивает помещение их в печати, ведет интриги, становится в позу молодой знаменитости, затмевающей свет старых богов.

Так теперь держит она себя и в отношении г-жи де Сталь. Она использует ее, небрежничаает с ней, пытается поссорить с друзьями, придает своим отзывам о ней даже чуть презрительный оттенок. Она явно считает, что дела г-жи де Сталь со всех точек зрения плохи, и не считает нужным церемониться. Г-же де Сталь, действительно, в эту пору (1802—1803 гг.) пришлось туго. В ее личных делах наступил кризис, в ее общественном положении разразился крах. С одной стороны, наконец, умер человек, чье имя она прославила,—барон Эрик-Магнус де Сталь—и она, как будто, могла связать с собой формальными узами человека, которого она любила, Бенжамена Констана; однако, как раз теперь его поведение свидетельствовало, что разрыв назрел; г-жа де Сталь ощущала возле себя пустоту, которая была для нее самым невыносимым из ощущений. С другой стороны, она лишилась своего основного, общественного положения «machine à mouvement qui remue les salons» («машини, приводящей в движение салоны»), по гневному слову Наполеона<sup>77</sup>. Его отношение к г-же де Сталь определилось к 1803 г. окончательно: он сводил ее к нулю, как политика, и третировал, как женщину. В пору итальянской кампании ее пылкие письма, соединенные с самоуверенными выпадами против «ничтожной маленькой креолки, не достойной понять гения», вызывали в нем веселое глумление по адресу «этого синего чулка, этой изготовительницы чувств, смеющей сравнивать себя с Жозефиной...»<sup>78</sup>. Во время свидания у Талейрана он непроницаемо молчал, слушая треск ее тирад; а теперь предстательство Жозефа Бонапарта, заверявшего: «Она будет

4. Janvier à 10  
tenues

Je ne puis convenir madame, ni ce qui m'avez dit  
sur la quelle est la personne qui vos l'a dit  
je n'ai jamais parlé de vos papiers. La jalousie  
tendre indubitablement, j'ai cru par quelques mots de  
convoitise et de voir de chateaubriand je me  
frustrerai. M'avez été faite avec eux et je  
n'ai pas en ce cherché à l'éclaircir parce  
que je suis si tracassé et que je trouve  
qu'en la multipliant en leur occupant mais  
je suis pourtant curieuse de savoir qui  
vous dit que je suis malade ou qui le dit  
en ce de chateaubriand à comite de  
c'est un moyen bien misérable de dire  
le me tromber que ma conversation  
pour me porter pas que j'aurais les 3 sous papiers

Demandez me, mettre à l'abri - je vos  
remercie cependant de tout mon cœur de  
m'avoir écrit avec... la bécotie qui vos  
caractériste mais comme qu'il se bon  
vix de bécotie par de tel moyen et  
un tour si facile que lui ne devrai pas s'y  
laisser prendre - j'ignore vos voir à Paris  
en j'ose me flatter qu'en attendant vos  
me retrouver telle que vos est bien venue  
me juge. il est très vrai que c'est votre  
Dance et celle de Delphine il n'y a pas  
l'idée de celle de Delphine je n'ai  
de mal à cela et me semble je n'ai  
Qu'il vous s'empare aucun changement pas ma

D'opposition pour vos et plus je vos verrai plus  
il me parait impossible de cesser de vos  
aimer.

St. Paul de la

Madame de K...  
N° 286 V...  
M...  
A...

АВТОГРАФ ПИСЬМА Г-ЖИ ДЕ СТАЛЬ К Ю. КРОДЕНЕР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ 1803 Г.

Публичная библиотека, Ленинград

обожать вас, если вы только выкажете малейшее к ней благоволение», он нетерпеливо оборвал брутальным: «Излишне! Ни к чему мне ее обожанье, она слишком безобразна»<sup>79</sup>. Такова кратчайшая история ее попыток установить личные отношения с ним. И того менее, разумеется, мог он терпеть ее в качестве какой-то самостоятельной величины в политике. С его точки зрения, это было, в лучшем случае, смехотворно: салонная говорунья, «идеолог в юбке», подымала голос там, где молчали и повиновались первейшие люди государственного действия — монархи, дипломаты, маршалы, законодатели. Но для нее перестать говорить — значило сойти с общественной сцены, а этого делать она не собиралась. Только личное присутствие Наполеона парализовало ей язык. Он наводил на нее оцепенение. Она, умевшая прерывать Гёте, заставлявшая неметь Шиллера, наполнявшая монологами слух всех европейских дворов, — она робела при виде Наполеона. Она сама обидчиво и недоумевающе отмечала это. Она жаловалась Люсьену Бонапарту: «... Я глупею в присутствии вашего брата от желания понравиться ему... Я ищу выражений, хочу заставить его заняться мной, и вот чувствую себя, и действительно становлюсь, глупой, как гусыня...»<sup>80</sup>. Тем смелее отводила она душу в салонах, а из того, что она там говорила, составлялись потом ее брошюры и памфлеты, — это было ее методом писательства. Бонапарт расправлялся с этим круто и быстро: «Предупредите эту женщину, что я не Людовик XVI...», — предписывал он Фуше; «...посоветуйте ей не пытаться пересекать мне путь, каков бы он ни был и куда бы ни заблагорассудилось мне итти, иначе я ее сломаю, превращу в обломки; пусть сидит спокойно, это для нее самое осторожное»<sup>81</sup>, — такова угроза консула; а вот приказ императора: «... эта женщина — настоящий ворон; она решила, что буря уже близка, и вся погрузилась в интриги и безумства. Пусть отправляется на свой Леман...»<sup>82</sup>. «Злостная интриганка», — резюмирует он, и с полным правом, потому что не было такой интриги против него, к которой прямо или косвенно она не была бы причастна, — от наущничания иностранным дипломатам или превращения салона Рекамье в свой филиал, до оппозиции Бернадота и фрондерства Моро, которых она подталкивала.

В 1802 г. все эти взаимоотношения определяются; перед взорами жадно внимающей Юлии Крюденер разыгрывается то, что она считает крахом г-жи де Сталь и из чего извлекает уроки для собственных целей. Время было малопригодное, чтобы дразнить льва: первый консул с гигантской и гениальной энергией упрочивал свою власть и готовил Францию к мировой гегемонии; пожизненное консульство, конкордат с папой, Амьенский мир — все вело к одной цели. Менее, чем когда-либо, он был склонен терпеть, чтобы ему мешали. Между тем, Камилл Жордан в середине этого года издал антинаполеоновский памфлет «Истинный смысл национального вотума за пожизненное консульство», а Жордан был из ближайших приятелей г-жи де Сталь; через месяц, в августе 1802 г., старик Неккер опубликовал «Последние рассуждения о политике и финансах, предложенные французской нации г. Неккером», где между брюзжаниями отца слышались насмешки дочери насчет военных диктаторов и претендентов на короны; Бенжамен Констан издал брошюру «О последствиях контрреволюции 1660 года в Англии», и само заглавие показывает, что друг гнет туда же, куда гнул отец; а в декабре 1802 г. появляется «Дельфина», сенсационный роман самой г-жи де Сталь. Романисткой г-жа

де Сталь никогда не была, и не в романе суть «Дельфины». Уста героини и ее партнеров излагали рассуждения о религии, о браке, о свободе, о государственности, — и как раз в обратном направлении тому, куда вел страну первый консул. Он восстанавливал католичество, — «Дельфина» восхваляла протестантство; он укреплял семью, — «Дельфина» проповедывала свободу любви и развода; он вел к единовластию, — «Дельфина» декламировала о свободе; он готовил страну к борьбе с Англией, — «Дельфина» выдвигала Англию примером гражданственности и государственности<sup>83</sup>.

Первый консул ударил по «всей клике», но по-разному, применительно к положению и знаменитости каждого. Жордановский памфлет он приказал попросту изъять, Констану — покинуть столицу, а против отца и дочери, по началу, выпустил своих журналистов, выказавших прямо-таки незаурядное искусство глумления, в особенности, по адресу г-жи де Сталь. «*Journal des hommes libres*», бывший на откупе у Фуше, изливает «*d'ordugiers outrages*» — «непристойные оскорбления» по адресу «четы» — г-жи де Сталь и Констана; ханжа М-те де Жанлис выступает с обвинением г-жи де Сталь в развращении нравов<sup>84</sup>; «*Mercure*» в очередном номере после выхода романа пишет: «Дельфина говорит о любви, как вакханка, о боге, как квакер, о смерти, как гренадер, о нравственности, как софист...»; а среди политических тенденций «Дельфинь» рецензия выдвигает на первый план самое одиозное, понятное каждому, напоминающее о том, что автор предался на сторону вечного врага Франции: «Французы, — значилось в «*Mercure*», — отнюдь не будут признательны за то, как она с ними обходится; вся любовь ее отдана нынче англичанам; этому не приходится удивляться: умы, высоко парящие над этой низкой действительностью, лишены отечества, да и по иной причине г-же де Сталь разрешено не иметь его. Уроженка страны более не существующей, жена шведа, ставшая француженкой по случайности, для которой родина всегда была иллюзией, она, вероятно, и не может мыслить иначе: это вошло уже в привычку»<sup>85</sup>.

Г-жу де Сталь этот журнальный яд не мог пронять — она уже испытала его; да она и сама принадлежала к «задорному цеху»; на нее действовали только реальные удары; таким был приказ об изгнании, которым Бонапарт завершил свою угрозу в следующем, 1803 г. Пока же журнальную брань она принимала хладнокровно и даже видела в ней свидетельство своей силы. Но общество было потрясено и тоном, и содержанием полемики, пустившей в ход интимнейшие события личной жизни писательницы. А Крюденер, стоявшая перед перспективой издания своей «Валерии», сделанной с оглядкой на вкусы и требования круга г-жи де Сталь вообще и на «Дельфину», в частности, — Крюденер была в панике. Ее письмо к Шатобриану (см. гл. III) было вызвано этим страхом: он числился в фаворе у Бонапарта, был создателем новой литературной моды и мог стать тем руководителем, которого она теперь отказывалась видеть в опальной г-же де Сталь.

Крюденер должна была убедиться, что ее собственная жизненная практика была осторожнее и предусмотрительнее. Это время было использовано ею выгоднее; она упрочила связи с теми, кто мог быть ей полезен, и, вместе с тем, она не совалась в политику, а оставалась светской женщиной, иностранной дамой, приобщавшейся к литературе. На этом пути ждали, конечно, трудности и не могло не быть столкновений. В частности, их нельзя было избежать с г-жой де Сталь, ибо приобретать себе не-

обходимых литературных друзей, опекунов и заступников приходилось, главным образом, из ее круга. Но теперь Крюденер чувствовала себя, по меньшей мере, равносильной опальной писательнице. Былое «светское соперничество» 1796 г. возродилось, но одна сторона была озлобленнее, другая—бесцеремоннее. По ходу своих дел Крюденер, как могла, вбивала клин между нужными ей людьми и г-жою де Сталь. Она, видимо, значительно успела в этом; для прикрытия, она сама, первая, обратилась к г-же де Сталь с упреками и жалобами на то, что Сталь ее теснит и обижает. Ответное письмо г-жи де Сталь, сохранившееся в крюденеровском архиве и ныне публикуемое, свидетельствует и содержанием и тоном, что г-жа де Сталь потеряла терпение. Она не отказывает себе в удовольствии поучить Крюденер правилам должного поведения. Она пишет:

(1)

Женева, 1 февраля [1803 г.]<sup>86</sup>

Я не могу себе представить, сударыня, ни того, что вам рассказали, ни то лицо, которое вам это рассказало. Я никогда не говорила о вас иначе, как с самым нежным участием. Из нескольких слов Камилла и г. де Шатобриана я поняла, что между нами хотели посеять недоразумение, но я еще не пыталась выяснить произошедшее, потому что терпеть не могу недоразумений и нахожу, что, занимаясь ими, только увеличиваешь их; но мне все-таки было бы любопытно узнать, кто сказал вам, что я нехорошо отношусь к вам, и кто рассказал об этом г. Шатобриану, Камиллу и пр. Это очень непривлекательный прием, от которого, казалось бы, моя привычка почти никогда не касаться в разговоре личностей должна была бы меня оградить. Тем не менее, я от всего сердца благодарна вам за то, что вы написали мне об этом с ... искренностью, составляющей вашу отличительную черту, хотя, согласитесь, совсем не трудно посорить людей таким образом; это способ настолько легкий, что не стоило бы к нему прибегать. Я рассчитываю видеть вас в Париже и льщу себя надеждой, что при личной беседе вы найдете меня все той же, какую считали меня раньше. Совершенно верно, что именно ваш танец и танец Жюльетты внушили мне идею танца Дельфины; мне представляется, что в этом нет ничего дурного. Впрочем, мое расположение к вам несколько не изменилось, и чем больше мы будем видеться с вами, тем менее возможным станет для меня разлюбить вас.

Н[еккер] Сталь де Г[ольштейн]

Адрес: Госпоже Крюденер.

Дом Ветье № 86,

против отеля Селестинов в Лионе

Таким образом, ясно, что сама Крюденер ничего определенного в своем письме к г-же де Сталь не сообщала. У г-жи де Сталь должно было создаться впечатление, что Крюденер замечает собственные следы и спешит принести жалобы раньше, чем будут поводы предъявлять ей самой обвинение в непривлекательной интриге. Ясны и те лица, которых она ввела в действие: это Камилл Жордан и Шатобриан. Для г-жи де Сталь несомненно, что Крюденер пожаловалась им на нее и просила о защите; только они повели дело не совсем так, как рассчитывала Крюденер,—не соблюли доверительности и попросту адресовались к г-же де Сталь; нити интриги выступали, таким образом, на свет.



ПАВЕЛ И ВИРГИНИЯ



НЕГР ДОМИНИК



ПАВЕЛ И ВИРГИНИЯ

Персонажи повести «Павел и Виргиния» Бернарде де Сен-Пьера  
Статуэтки фарфорового завода Потова, 1840-е гг.  
Музей керамики, Кусково

Поводов для разыгравшегося столкновения было два: один—общественный, другой—личный. Намеки и указания, сохранившиеся в материалах, позволяют с достаточной достоверностью считать, что дело было связано с политическим шумом, разыгравшимся вокруг выхода в свет «Дельфины», и что Крюденер почувствовала себя вовлеченной в эту историю, испугалась последствий и решила принять контрмеры. Одной из особенностей «Дельфины» являлось то, что персонажи романа были наделены приметами, по которым можно было отождествить их с действительными лицами общества; во французской литературе это было традиционно; считались расшифрованными сама г-жа де Сталь, Бенжамен Констан, старик Неккер, Талейран, г-жа Рекамье, прусский посланник Луккезини и т. д., в том числе и Юлия Крюденер<sup>87</sup>. Ей была отведена роль в танце Дельфины. Госпожа де Сталь взяла пресловутый «танец с шалью», предмет крюденеровской гордости, и описала его. Но танец Крюденер был взят не в чистом виде, а в известной смеси с танцами Жюльетты Рекамье, которые так пленяли парижский свет<sup>88</sup>. Об этом и говорится в письме г-жи де Сталь: «Совершенно верно, что ваш танец и танец Жюльетты внушили мне идею танца Дельфины; мне представляется, что в этом нет ничего дурного».

В самом деле, что тут было компрометирующего? А между тем, как ясно из контекста, Крюденер жаловалась на это, как на проявление нелюбви к ней г-жи де Сталь. «Танец Дельфины,—значится в романе,—представлял собою смесь бесстрастия и живости, меланхолии и совершенно азиатской веселости. Порою, когда музыка становилась нежнее, Дельфина делала несколько па, склонив голову, скрестив руки, как будто внезапно ко всему блеску праздника примешивалось несколько воспоминаний, несколько сожалений; но скоро, возвращаясь к живому и легкому танцу, она окружала себя индийской шалью, которая, обрисовывая талию и ниспадая вместе с длинными волосами, делала из всей ее фигуры восхитительную картину... Этот танец оказывал сильное влияние на воображение, и Дельфину приветствовали таким взрывом аплодисментов, что казалось, будто все мужчины влюблены в нее, а женщины покорены...»<sup>89</sup>. Г-жа де Сталь в праве была спросить, в чем вина автора перед моделями.

Что ответила, и ответила ли Крюденер, мы не знаем, но известно из крюденеровских писем к доверенным лицам, что имела она в виду: она хотела извлечь для себя одной всю выгоду такой рекламы, какую ей делал роман, но в то же время она боялась, что политическая опороченность героини, брань журналов набросят тень на самоё Крюденер и повредят успеху «Валерии», готовой появиться в свет. Поэтому, с одной стороны, она цитировала всюду, где можно, описание танца и комментировала его применительно к себе, а с другой стороны—предусмотрительно жаловалась, что г-жа де Сталь извратила ее образ, вложив ей в уста какие-то странные, неподобающие, непозволительные утверждения, в которых она неповинна. Об этой тактике говорят ее директивные послания к пресловутому доктору Гэ, подброшенному ей еще Бернардену де Сен-Пьером,—«поставщику славы», готовному малому, идущему на все услуги и оправдавшему специфическую доверительность Крюденер. Письма к Гэ из Лина, где она проводила зиму 1802—1803 г., отправлены ею раньше, чем она написала г-же де Сталь: они датированы еще началом и серединой января—3-м, 6-м, 17-м, 25-м. 17-м же января помечено также смятенное обращение к Шатобриану по тому же поводу (см. гл. III). Уже в письме

от 3 января диспозиция очерчена ясно: использовать «Дельфину» для авто-рекламы, но не слишком настаивать на личном тождестве; поэтому, прежде всего, Крюденер требует от своего фактотума мероприятий, которые дали повод Сент-Бёву лукаво заявить: «Я краснею за свою героиню». Она пишет Гэ: «Вот у меня такая просьба к вам: закажите какому-нибудь хорошему стихотворцу стихи в честь нашего друга, Сидонии [иносказательное обозначение самой Крюденер, по имени ее героини из «Хижины латаний»]. В этих стихах, которые мне нет нужды рекомендовать вашему попечению и которые должны быть отменного вкуса, нужно сделать только такое посвящение: «Сидонии». Пусть в них говорится:—Почему ты живешь в провинции? Почему твое уединение лишает нас твоего изящества, твоего ума? Разве успехи твои не зовут тебя в Париж? Там твои достоинства, твои дарования встретят то восхищение, какого они заслуживают. Твоя обворожительная грация была изображена, но кто может действительно нарисовать то, что заставляет заметить тебя?». Это острожно-безличное «была изображена» сознательно мотивируется несколькими строками ниже; Крюденер поясняет: «Действительно, Сидония была изображена из-за ее танца в «Дельфине». Прочтите, вам это понравится. Но не следует упоминать, что именно в «Дельфине» она была изображена. Не давайте никаких других указаний, кроме простого посвящения «Сидонии»... Оплатите газету. Я надеюсь объяснить вам мои мотивы...». Кончает она столь же достойно, как начала: «Постарайтесь, чтобы вас не обнаружили!».

Уже через три дня она уточняет требование в отношении наиболее деликатного пункта—намека на описание в «Дельфине»; в письме от 6 января она пишет своему комиссионеру: «Я просила вас прислать стихи к Сидонии, мы напечатаем их здесь. Но при упоминании о том, что ее талант к танцам был изображен, не надо говорить прямо в безличной форме «был изображен», а надо сказать: «Опытная кисть нарисовала твой танец, твои успехи известны, твоя грация воспета так же, как и твой ум. Ты же неизменно утаиваешь их от света: одиночество, уединение—вот что тебе милее. Там, в набожности, среди природы и изучения, счастливая и т. д., и т. д...». Вот, любезный друг, чего я прошу у вас для нее, и я объясню вам, почему...»<sup>90</sup>. Эти новые оттенки заказа знаменательны. За три дня Крюденер поразмыслила над положением дел и приняла более определенную тактику. Она теперь решила, что безличная форма упоминания о танце не годится,—общество может не понять, о ком идет речь; Крюденер попрежнему боится политических следствий прямой ссылки на «Дельфину», однако, она считает желательным в наибольшей степени приблизить читателей к источнику, облегчить им разгадку; этой цели должны служить слова второй редакции заказа: «Опытная кисть нарисовала твой танец...». Но и теперь заказчица считает нужным возможно резко отделить свой образ от образа Дельфины. Она принимает меры к тому, чтобы сходство ограничивалось только мастерством танца,—остальное должно быть иным и даже противоположным. Так осуществляется стратегия, сохранявшая все выгоды от «Дельфины» и обезвреживавшая все ее опасности. Дело ведется уже в открытую; политическая природа изменений заказа проявляется прямо,—17 января, спустя две недели, Крюденер спрашивает Гэ: «Прочли ли вы «Дельфину»? Фонтенэ<sup>91</sup> обрушился на автора, который, конечно, совершил много непоследовательностей, но все же не заслужил таких оскорбительных нападков...».

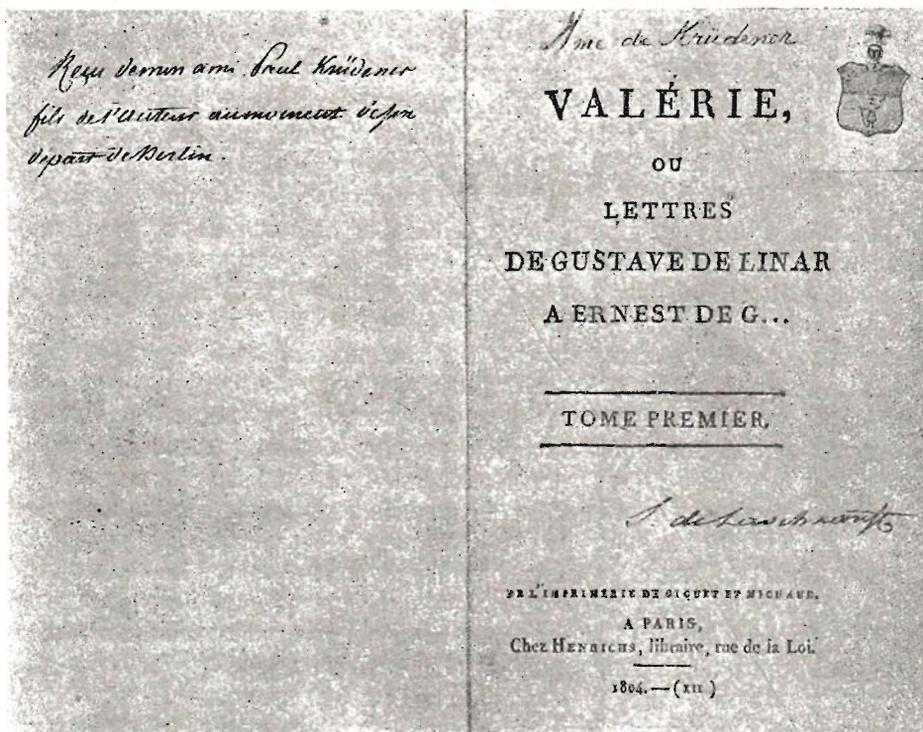
Это еще только присказка, говорящая о тревоге Крюденер, отмежевывающаяся от г-жи де Сталь, но и осуждающая, как это делали кругом, травлю против нее. Суть же раскрывается дальше: «М-те де Сталь сказала Сидонии, что хотела изобразить ее танец, и вы найдете это в первом томе. Дельфина танцует полонез на балу у г-жи де Вернон. Как заметило несколько лиц, она обрисовала фигуру, манеру речи, воображение Сидонии, а к ним подмешала собственные свои политические и религиозные высказывания, между тем как Сидония глубоко благочестива и мало занята политикой...»<sup>92</sup>. Совершенно то же писала она и новообретенному другу, Камиллу Жордану: «Читаю «Дельфину» госпожи де Сталь. Скажите, не является ли характер Дельфины странной смесью госпожи де Сталь и некоей другой особы? Это обращает на себя внимание; полагают, что во многих отношениях она захотела нарисовать эту другую особу: она изобразила ее танец и много черт ее фигуры; но, прошу вас, ничего не говорите ей об этом...». Эдуард Эррио, ставя вопрос: «была ли у г-жи Рекамье своя роль в романе?» и приведя этот отрывок письма, говорит: «Нет сомнения,—для г-жи Крюденер и ее друзей характер Дельфины является смесью характеров г-жи де Сталь и г-жи Рекамье»<sup>93</sup>; автор монографии о Рекамье не обратил внимания на последнюю фразу цитаты; для него вообще Юлия Крюденер проходит задним планом, и мысль о ее конкуренции с Рекамье у него даже не возникает. Но слова «прошу вас, ничего не говорите об этом» нам ныне ясны: Камилла Жордана просят не передавать г-же де Сталь о притязаниях Крюденер на образ Дельфины, дабы не увеличивать напряженности отношений, какая теперь снова, как в 1796 г., была между обеими женщинами.

Действительно ли Крюденер надеялась на скромность Жордана? Или, наоборот, расчет ее строился как раз на той несколько резкой прямолинейности, которая его отличала? Второстепенный, но типический представитель французского умеренного роялизма, в 90-х годах — один из лидеров контрреволюции, позднее — консерватор на английский манер, недалекий, упрямый, догматический («этот пономарь, небодрый разумом», — говорит о нем Ж.-М. Шенье в сатире на папу и Людовика XVIII), Камилл Жордан был в личном общении любимцем друзей, взрослым ребенком, вызывавшим зачастую переполох своей прямоотой и откровенностью. В нашем случае дело представляется тем яснее, что Жордан был не просто знакомцем обеих дам, а служил яблоком раздора, объектом нового соперничества. Как и в 1796 г., нападающей стороной была Крюденер, обороняющейся — г-жа де Сталь. В Лионе, где Крюденер жила в это время, Жордан мог ей быть весьма полезен, а в литературных делах — сугубо, ибо обладал и личной известностью публициста, и внушительными литературными связями. Крюденер, действительно, широко использовала его в своих интересах. Разумеется, Жордан не подозревал, что является одной из составных частей ее «шарлатанизма», но на деле он способствовал рекламе Крюденер едва ли не больше всех в лионской группе. Сколько бы ни делать скидок на крюденеровский гиперболизм, все же останется достаточно, чтобы упоминания имени Жордана обозначали действительную помощь. «Я бы не кончила, — пишет 1 марта 1803 г. Крюденер г-же Арман, бывшей гувернантке своих детей, — если бы стала рассказывать вам, как меня чествуют («comme je suis fêtée»): целый дождь стихов, знаки почтения и внимания соперничают; каждое мое слово рвут, как милость; только и разговоров, что о моем уме, доброте, нрав-

ственности; это в тысячу раз больше, нежели я заслуживаю, но провидению угодно излить на детей своих...» и т. д.<sup>94</sup> Та же тема с вариациями развивается в письме к падчерице, живущей в Берлине: «Произведение г-жи де Сталь, репутация, которую она мне создала в танце, похвалы газет в связи с «Максимами», поток стихов, связь с Шатобрианом, Сен-Пьером, слава доброты, благородства, ...успех «Валерии», которая здесь была читана, ... все это принесло маменьке [маменька—это она сама] любопытство, потоки стихов из провинции, приглашения, приемы...»; «... именно успех «Валерии» и заставляет меня желать поездки в Париж. Вы знаете, сколько нужно предпринять самой с газетчиками, вообще поработать над успехом нового произведения, чтобы затем небрежно печатать, пользуясь уже сложившейся репутацией. Я рассчитываю, что Сен-Пьер, Дюсис, Шатобриан и Жеффруа отзовутся одобрительно. Пущенная таким образом в свет молодая особа будет принята всюду. Вы знаете, что для успеха не достаточно одного ума или дарования или добрых намерений,—для всего есть свой шарлатанизм»<sup>95</sup>. Она выполняет эту программу; она организует мнение парижских салонов, заново передает рукопись парижским знатокам: «„Валерия“, просмотренная и исправленная еще в Лионе, была снова подвергнута рассмотрению и поручена нескольким просвещенным друзьям»,—говорит крюденеровский биограф; на это уходит вся вторая половина года. Наконец, в декабре 1803 г., с датой 1804 на обложке, «Валерия» выходит в свет; теперь «все батареи г-жи Крюденер производят салют»,—как выразился Ш. Эйнар: и комиссионеры, и друзья, и родственники, и провидение—все было пущено в ход в решительную минуту. Г-жа Крюденер в экстазе даже сообщает близким людям о своем новом «изобретении»: она объезжает парижские модные магазины, с шумом требует новинок дамского туалета «в стиле Валерии»,—конечно, таковых не оказывается, она негодует, отчитывает продавщиц и владельцев; те сначала теряются, затем делают срочные заказы модисткам, и спустя несколько дней магазины уже предлагают всем парижанкам шали, ленты, перья, цветы и т. п. à la Valérie. Крюденер же пишет письмо такого рода: «Успех «Валерии» полный и неслыханный, и еще на-днях мне говорили: есть нечто сверхестественное в этом успехе. Да, друг мой, небу было угодно, чтобы эта более чистая нравственность распространилась во Франции, где ее идеи мало в ходу...»<sup>96</sup>.

Небо небом, а кесарь кесарем: Крюденер не была бы собой, ежели бы позабыла о более близком и более ощутительном земном владыке. Она решила поднести «Валерию» первому консулу. Это было тем соблазнительнее, что она сделала все, чтобы попасть в тон его требований и чтобы не повторилась история с «Дельфиной». Победу над г-жой де Сталь она готовилась одержать в самом центре поля деятельности. Недаром новый вождь литературы, Шатобриан, был одним из основных ее советчиков и направителей. Упоминание о благочестии, о нравственности, о провидении, о невмешательстве в политику, которыми Крюденер в письмах аттестует себя и свое произведение, говорят, как внимательно прислушивалась она к лозунгам дня. Поэтому на заключительный шаг, закрепляющий ее успехи, она пошла с легким сердцем: она отправила экземпляр библиотекарю Бонапарта, Антуану Барбье<sup>97</sup>, а тот, как обычно, положил книгу в число новинок на просмотр первому консулу. Наполеон раскрыл книгу где-то посередине, прочел несколько строк и захлопнул,

сказав: «Это хорошо для женщин, у которых много свободного времени». Крюденер, тщетно прождав несколько дней ответа на внимание, решила напомнить о себе вторично и более пышно: она велела великолепно переплести книгу и сделала надпись—посвящение первому консулу от имени «иностранки, избравшей Францию отчизной своего сердца». Наполеон снова раскрыл книгу, прочел на сей раз несколько страниц и заявил библиотекарю: «Повидимому, сударь, у баронессы Сталь появился двойник: после «Дельфины» выходит в свет «Валерия». Одна стоит другой,—та же выпренность, та же болтовня... Посоветуйте от моего имени этой сумасшедшей г-же Крюденер впредь писать свои произведения по-русски или хотя



РОМАН Ю. КРЮДЕНЕР „ВАЛЕРИЯ“

Экземпляр первого издания 1804 г. с пометами владельца книги, свидетельствующими, что он получил ее от П. Крюденера—сына автора

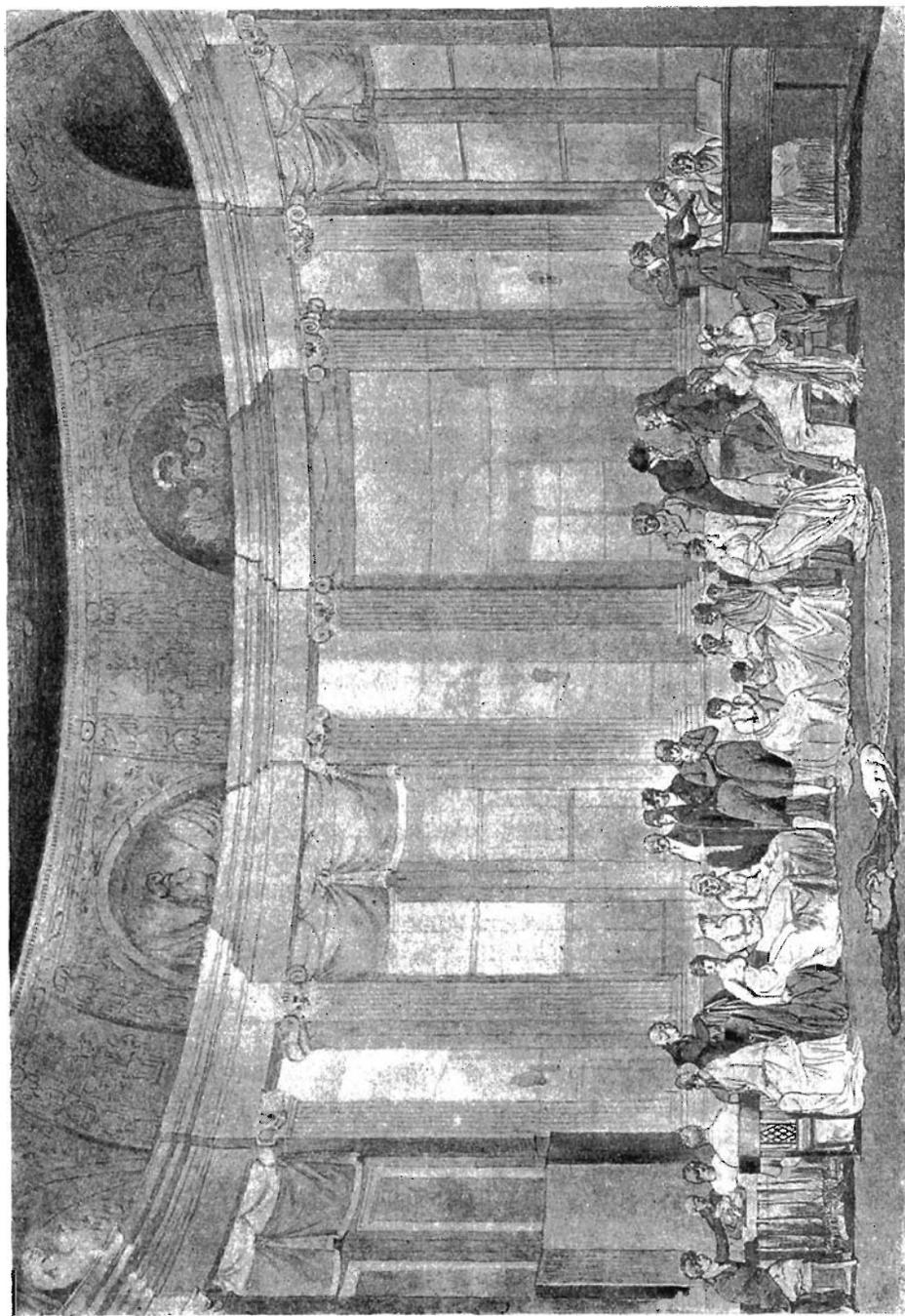
Частное собрание, Ленинград

бы по-немецки, но мы должны быть избавлены от этой невыносимой литературы»<sup>98</sup>.

Так суждением Бонапарта «Валерия» оказалась приравненной к «Дельфине». Это было худшее, что могло случиться. Уверения Шатобриана, коллективное редакторство стольких знатоков сделали из нее только сателлитку опального автора. На какое будущее могла она теперь рассчитывать? Любопытно, что не сбылась ни одна из ее надежд на рецензии, подписанные большими именами: вопреки ее предсказаниям, ни Сен-Пьер, ни Шатобриан, ни Дюсис, ни Жеффруа, ни Жордан не дали в прессу ни строчки о «Валерии». Отозвался лишь все тот же признательный газетчик Мишо: после похвалы афоризмам—похвала роману. Действитель-

ность обертывалась совсем не такой, какой хотела Крюденер; ее уверения: «Г-н Шатобриан в восхищении от моей „Валерии“», или: «Г-н де Сен-Пьер в восторге от «Валерии», остальные журналисты и литераторы тоже, они заверяют, что это будет одной из наиболее заметных вещей, какие появились за долгий срок» (письмо 2 августа 1803 г.)—оказались фантазиями, где рекламный метод и искреннее самолюбование автора были равно смешаны. Знаменательно, что и из дальнейших литературных опытов Крюденер ничего не вышло. Она заготовила еще несколько рукописей—«Письма светских людей» («Lettres de quelques gens du monde»), новеллу «Отильда, или подземелье», переработанную потом даже в роман; но все это осталось в сыром виде. Это было уже ни к чему. Друзей, которые потратили бы свой труд на переработку, теперь не нашлось, сама она к литературной карьере охладела. Но рана болела долго. Крюденер не желала числиться лишь отражением подлинно знаменитой женщины, а свое произведение считать тенью подлинно знаменитого романа. Она взывала к недавним друзьям, жаловалась, доказывала, сопоставляла «тот, другой роман» со своей «дорогой „Валерией“» и ждала утешения<sup>99</sup>. Но эту защиту ей пришлось вести уже издалека, из затишья родной провинциально-патриархальной Риги, куда она удалилась из Парижа. Это было погружение в небытие на пороге сорока лет жизни, после очередного краха. Правда, катастрофа постигла и г-жу де Сталь—наступили годы ее изгнания, скитаний, знаменитых *dix années d'exil*, но какая же была разница между этими шумными передвижениями по дворам и странам, приемами у государей, беседами со знаменитостями, погружениями в мировую политику, наконец, выпуском книг, получавших оглушительный резонанс, вызывавших гнев Наполеона и восторг эмиграции, словом, всем тем, что делало г-жу де Сталь середины 1800-х годов знаменитейшей женщиной Европы,—и бесцветным прозябанием Крюденер в Риге или Бадене на положении одной из дам светского общества. Крюденер, конечно, достаточно знала о делах г-жи де Сталь,—кто же не знал о них? Г-жа де Сталь получала сведения о жизни и бытии Юлии Крюденер,—они изредка переписывались, попадались люди, соединявшие нити между ними; они даже встретились еще раз в Женеве в 1808 г.<sup>100</sup>. Но вообще пути их разошлись, а в ту короткую пору 1815 г., когда Крюденер оказалась всему миру рядом с русским императором и могла бы, наконец, встретить г-жу де Сталь с более высокой ступеньки,—Сталь отсиживалась в своем Коппе, не желая показываться в Париже, потрясенная, подавленная поведением союзников, которым она сама прокладывала путь во Францию, стараясь осмыслить все произошедшее, подводя ему итоги в своем последнем произведении, можно сказать—в политическом завещании—в «Размышлениях о главных событиях Французской революции». Г-жа де Сталь появилась в Париже лишь в следующем, 1816 г., когда Крюденер, после трехмесячного блеска, опять погрузилась—на этот раз окончательно—в сумрак частного, хотя и беспокойного существования.

В промежутке они изредка напоминали друг другу о себе. Обычно это шло со стороны Крюденер,—по крайней мере, так говорят те два письма г-жи де Сталь, оба ответных, которые сохранились неопубликованными в крюденеровском архиве. Одно письмо—1807 г., другое—1809 г. Первое письмо прямо упоминает о послании Крюденер, второе говорит о том же косвенно, упоминая о нескольких темах, которые развивала Крюденер. Оба ответных письма госпожи де Сталь отправлены из Коппе. Одно таково:



РУССКИЙ САЛОН В ПАРИЖЕ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Рисунок неизвестного художника в альбоме В. Н. Головиной, изображающий парижский салон ее матери, кн. П. И. Голицыной, 1802—1804 гг.  
Музей города, Ленинград

(2)

Коппе, 14 октября [1807 г.]<sup>101</sup>

Не разрешите ли, *my dear Madame*, направить к вам барона Энде, который побывал здесь и произвел на меня впечатление человека, преисполненного добрых чувств и умеющего живо их выражать, что делает честь его уму и сердцу. Он выразил желание познакомиться с вами. Он расскажет вам про Коппе и напишет мне все о вас,—что я ему очень советовала сделать. Овернер просил напомнить вам о себе. Г-жа Жаколи Клёт поет гимны вашему поведению в Кёнигсберге. Прошу вас думать о Коппе, как о собственном своем доме, и напомнить обо мне прелестной Жюльетте<sup>102</sup>.

Я получила ваше милое, вернее прекрасное, письмо.

В сущности, это даже не письмо, а записка довольно холодного, почти светски-официального тона, столь отличного от предыдущего гневного письма по поводу Жордана и «Дельфины», и от следующего, простого, местами иронического, но, в общем, дружественного письма 1809 г. Видимо, в этот промежуточный этап 1807 г. разобщенность отношений между г-жой де Сталь и Крюденер была наиболее полной: контраст между бурями у одной и тишиной у другой никогда не был так велик, как теперь. У г-жи де Сталь—это время выхода в свет, весной 1807 г., «Коринны», с ее открытыми и скрытыми жалами по адресу Наполеона и явными и тайными восхвалениями Англии—продолжением и усугублением давней борьбы, вызвавшим в ответ снова раскаты грозного голоса, поминавшего даже среди грома боев под Иеной, Эйлау, Фридландом «эту негодницу Сталь», «эту зловредную интриганку», что наполняло виновницу женским ужасом и мужским самолюбованием.

Крюденер же в это время делала первые шаги на пути, избранном ею после крушения литературных начинаний. Она устанавливала связи с малыми властителями—в Бадене, Карлсруэ или Кёнигсберге. Письмо г-жи де Сталь как раз упоминает о «поведении в Кёнигсберге», т. е. о сближении с прусской королевой Луизой, на почве выполнения долга христианского милосердия, в виде посещения раненых в кёнигсбергских госпиталях летом 1806 г. Крюденер делала тут предварительные опыты сближения с властью имущими на земле при помощи власть имущего на небесах.

Действительно, к концу 1800-х годов Крюденер дошла до первых опытов общественного приложения «заимствуемой благодати». По существу, это был один из вариантов поведения, которое стало уже широко модным, которое было освящено в европейском масштабе успехами Шатобриана с «Гением христианства», а в провинциальном—карьерой поэта-мистика Юнг-Штиллинга при баденском дворе. «Г-жа Крюденер,—повествует Эйнар,—крайне стремилась поучиться у благочестивых людей, которые могли просветить ее. Юнг-Штилинг выделился тогда в качестве одного из немецких теософов, которые более всего производили впечатление на массу»<sup>103</sup>. Как раз к берегу Юнг-Штиллинга и пристала Крюденер. Он стал сначала ее учителем, затем—благовестителем ее добродетелей. Более того: он стал для Крюденер прообразом для завершающего дела ее жизни, для ее роли спустя семь лет возле Александра I. Юнг-Штилинг уже играл такую роль при местном монархе: «Великий герцог Баденский... назначил его своим тайным советником и совещался с ним по всевозможным поводам»<sup>104</sup>.

Два года, прошедших между запиской г-жи де Сталь 1807 г. и ее письмом 1809 г., были у Крюденер наполнены развитием юнг-штиллинговских теософских уроков, усвоением его словаря, первыми опытами проповедей, первой проверкой сил в делах спасения заблудших и т. п. У нее выработался особый стиль речи, возвышенно-туманный, манера самообличения паче гордости, переходящего в рассуждения о своем избранничестве, — всё то, чем наполняются отныне и впредь ее взаимоотношения с людьми.

Это определяло теперь и трудности личного общения Крюденер с г-жой де Сталь, и редкость их переписки, и особенности ее тона и содержания, когда при оказиях Крюденер вызывала своими посланиями г-жу де Сталь на ответы. Знаменательно, что, проезжая осенью 1808 г. мимо Коппе, Крюденер не решилась заглянуть туда, а в письме, написанном из Лозанны 8 октября 1808 г., сочла нужным сказать о «мужестве», которое-де ей для этого понадобилось<sup>105</sup>. Зато заглазно она в этом же письме прочла г-же де Сталь длинную проповедь о благодати веры—образчик усвоенной теологической риторики. Еще А. Н. Пыпин отметил, что Крюденер в этой новой роли чувствовала смущение перед г-жой де Сталь и, витийствуя, держалась настороже. Она писала одному из близких лиц: «Г-жа де Сталь очень далека от гавани. Она откровенна и правдива. Боюсь, как бы она не заметила, что ее хотят обработать (*qu'on veut la travailler*); это пропадет даром. Надо махнуть рукой... Один бог может уловить ее; от него она не уйдет». Пессимизм Крюденер был обоснован. В ее архиве сохранилось письмо г-жи де Сталь, — последнее, каким мы располагаем, — которое свидетельствовало, что по этому адресу крюденеровская благодать расточалась впустую.

(3)

[Коппе] 5 февраля [1809 г.]<sup>106</sup>, четверг

Жизнь, которую, сударыня, вы там у себя ведете, — самая прекрасная и самая трогательная, и мне хотелось бы иметь достаточно сил, чтобы вам подражать. Но моя душа нуждается в развлечении, — вернее, в ней подымается боль, когда я чем-либо не отвлечена, и это делает для меня полное уединение невозможным. Во мне нет сейчас этой полноты чувств, и одно лишь мое стремление цельно и беспримесно. В повседневной жизни я видела, что вы доверчивее меня и что дурные стороны в людях и делах не так явственны вам; я же почти не сохранила привычки надеяться и вношу эту горестную настроенность даже в наиболее высокие мысли. Молитесь за меня, ибо ваши молитвы должны быть действительными, и в них вы никому не отказываете. Роман вашей Софи меня живо интересуется; сообщите мне, какова его развязка, но сообщите также и о себе, что с вами будет дальше. Я остаюсь в Коппе до октября, вы же так близко отсюда: почему бы вам не приехать? Вы оставили на своем пути как бы светлый след, и все благочестивые люди говорят мне о вас с любовью. Каковы ваши планы на будущее и как обстоит дело с тем, другим, более идеальным романом, над которым вы трудились? Я уверена, что он будет носить отпечаток ваших теперешних чувств и что ваше дарование как нельзя лучше сочетается с ними. Прочли ли вы «Вальштейна» Бенжамена Констана? Предисловие к нему должно вас заинтересовать, вы оцените в авторе иноземную сочность, ограниченную французской точностью. Я послала бы вам книгу, если бы знала, где вас найти, но в числе прочих своих ангельских свойств вы обладаете свойством делаться невидимой, и я не знаю, где вас

поймать. Выходите же на свет и подумайте, сколько удовольствия и сколько добра доставите вы всем, с кем встретитесь. Напомните обо мне, пожалуйста, Софи и Жюльетте. Я очень жду обещанного описания вашей жизни. Итак, когда вы были любимы, ваше сердце довольствовалось этим, не требуя ничего другого. Я же, когда любила, была полна лишь собственным своим чувством. Что думаете вы о Юнг-Штиллинге и его книге о духах? Я ставлю все эти вопросы, главным образом, затем, чтобы получить на них ответ.

Целую всех вас троих с нежностью и почтением.

Было ли это ответом на упомянутое крюденеровское письмо из Лозанны от 8 октября 1808 г., или за истекшие с тех пор четыре месяца от Крюденер пришло еще одно послание,—содержание было, как видим, по существу, одно и то же. Деловая часть,—если это можно назвать деловым,—состояла в сообщении о намечающейся помолвке Софи, падчерицы Крюденер, за которой ухаживал некий М-г Ошандо. Главное место в крюденеровском письме занимала похвала уединению, благочестию, помощи ближним и прочим добродетелям, которые проявляла ныне баронесса. В ответ она ждала декларации со стороны г-жи де Сталь. Г-же де Сталь было о чем писать, ежели бы это не шло в адрес Крюденер. Именно теперь ее томления изгнанницы достигли апогея: она задыхалась в своем Коппе, она мучительно рвалась в Париж и как раз в этом же самом феврале 1809 г. писала об этом Талейрану. А в творческой работе она была поглощена писанием глав «О Германии», знаменитейшей книги, апологии немецкого романтизма, немецкой мистики, где Крюденер могла усмотреть какое-то родство со своими интересами и вкусами. Но г-жа де Сталь умолчала обо всем этом. Ее ответ уклоняется от разговора по душам.

Вопрос о Юнг-Штиллинге и его книге о духах свидетельствует, какая ирония пробивалась под благосклонными выражениями письма г-жи де Сталь. «Книга о духах»—это пресловутое теоретическое введение в практическое духоведение: «Theorie der Geisterkunde», выпущенная крюденеровским наставником и ценителем в 1808 г. Знала ли г-жа де Сталь или нет о взаимоотношениях своей адресатки с мистическим старцем (скорее всего, знала,—круг общих знакомых был тесен), но ответ Крюденер не мог не выявить, до каких степеней святости дошла новообращенная<sup>107</sup>. Позднее огромные исторические события, с которыми соприкоснулась Крюденер и которые она использовала, прикрыли своим ответом ее ханжество и задекорировали ее циничность; но в те годы, когда Крюденер в последний раз общалась с г-жой де Сталь, в преддверии наполеоновского заката, ее корреспондентке было наиболее четко и выпукло видно то, о чем писал Паризо в «Biographie Universelle», в посмертной характеристике баронессы Крюденер: «Эта героиня не обладает ни дарованием, ни подлинной страстью, ни непосредственностью, за исключением случаев, когда затронута ее честолюбие. Театральная с головы до ног, она протягивала руку бедным лишь в ту пору, когда благоденствующие бросали ее, да и тогда чего она искала?—Зрителей, хотя бы и в лохмотьях...»<sup>108</sup>.

Для Крюденер была ясна неудача. В архиве Коппе сохранилось ее письмо, датированное 16 марта 1809 г., которое свидетельствует, что она сочла необходимым даже прямо бить отбой. Она оправдывается и



*Painted by G. Rodol-Friesen*

*Engraved by Longin*

*Le Vicomte de Chateaubriand*  
*Pair de France.*

*London Published 1817 by Messrs Colnaghi & Co. Cockspur Street, Pall Mall.*

ШАТОБРИАН

Гравюра Ж.-Н. Ложье 1817 г. с портрета Жироде 1809 г.

Музей изобразительных искусств, Москва

разъясняет: «Вы пишете мне, сударыня, что для вас было бы невозможно жить в уединении. Вы не поняли меня, если сочли, что именно это я советую вам»; пространные доказательства обратного она подкрепляет изумительной декларацией, сделанной от имени господ бога: «Сам господь, т. е. само добро, сама нежность, сама деликатность, относится с уважением к свободе человека, если позволено так выразиться. Он не принуждает ни к чему. Он лишь зовет уверовать и через это отдаться ему», — в подкрепление чего Крюденер приводит «поразительные случаи» обращения, только-что произошедшие при ее скромном содействии. Всё это было не для г-жи де Сталь: г-жа де Сталь невысоко расценивала устойчивость новообращения самой Крюденер. В архиве Коппе есть еще одно письмо, заключительное для их общения друг с другом. Оно связано с неприятностью, стряпшейся над Крюденер, — с приказом выслать ее из Вюртемберга за сообщничество с двумя шарлатанами — пастором Фонтаном и его «пророчицей» Марией Куммин, которых Крюденер пригрела возле себя и которыми пользовалась. Г-жа де Сталь усмотрела в приказе политическое гонение, родственное тем, каким она сама подвергалась со стороны Наполеона, и предложила Крюденер убежище у себя в Коппе. Но, посылая приглашение, она сочла возможным задать Крюденер вопрос, всё ли еще та держится за свою мистику. Ответ Крюденер, посланный из Бадена 14 сентября 1809 г., столь же характерен: она отклоняет приезд в Коппе и утверждает верность обретенной благодати: «Вы испугались для меня одной лишней опасности. Могу сказать вам, что в отношении вюртембергского короля я подобна Баярду без страха и упрека. Больше всего его сердит то, что я его не боюсь... Я так счастлива и спокойна, что мир не может волновать меня. Думаю, что этим я полностью отвечаю на ваш вопрос мне, не изменились ли мои религиозные убеждения. Они лишь крепнут. Конечно, мне было бы приятно перенестись в Коппе... Но сколько препятствий на пути к этому проекту! О, я хотела бы несколько часов побеседовать с вами, как в последний раз, — но это было бы не о политике, не о земных потрясениях... Я познала столько вещей...». — На этом связь между ними оборвалась; каких-либо свидетельств дальнейшего их общения нет — ни эпистолярных, ни биографических. Они расстались, как видим, каждая в своей роли: одна — с жестом изгнанницы, предлагающей приют еще одной жертве тирании, другая — с жестом пророчицы, дающей ответ еще одной жертве безверия.

### III

Ни политическими, ни личными взаимоотношениями Шатобриана и Крюденер французская биографическая литература не занималась совершенно. Огромный свод исследований и характеристик, созданный вокруг жизни и писаний зачинателя романтизма и охвативший столько имен и событий, обошел молчанием крюденеровскую тему. Такая традиция умолчания установлена самим Шатобрианом. Она осталась непоколебленной, как всё, что пожелал себе приписать и от чего пожелал отречься знаменитый творец автобиографической легенды «*Mémoires d'Outre-Tombe*» («Замогильных записок»). Этому способствовала и крайняя скудость наличествующих материалов, особенно важнейших, исходящих непосредственно от обоих лиц. Между тем, есть все основания думать, что переписка между Крюденер и Шатобрианом была куда обильнее и внушительнее,

чем те эпистолярные крохи, которые сохранились. Известны всего лишь два письма их друг к другу—по одному на каждого из корреспондентов. Сам Шатобриан опубликовал в «Замогильных записках» полученное им крюденовское письмо 1803 г., а Эйнар дал место шатобриановскому письму к Крюденер 1815 г. Сейчас те несколько записок и писем из крюденовского архива, которые пролежали свыше ста лет, не видя света, и нами публикуются, увеличат шатобриановскую долю, но не прибавят ничего к крюденовской; однако, они же свидетельствуют, что письма Крюденер к Шатобриану существовали; позднее они исчезли и, по всей вероятности, едва ли уж отыщутся. Это не случайность, это—итог, который Шатобриан подвел своим отношениям к Крюденер. Он не желал признавать Крюденер сколько-нибудь самостоятельной величиной в летописи своего существования. Для кривого зеркала «Mémoires d'Outre-Tombe» это как нельзя более характерно.

Одна подробность освещает дело: в XXI главе 10-й книги окончательного текста «Замогильных записок» читаем: «Госпожа Крюденер последовала за союзниками, появившимися вновь в Париже. От романа она перешла к мистицизму...»<sup>109</sup> и т. д. Этот холодный и безличный тон повествования не оставляет у читателя места для предположений, что автора и Крюденер связывали непосредственные и притом весьма важные отношения. Шатобриан держит себя посторонним и надменным наблюдателем юродств заезжей каботинки. Однако, уже предыдущая редакция, пусть мимоходом, говорила все же об ином; там Шатобриан писал: «...г-жа Крюденер, которую я близко знал («que j'ai beaucoup connue»), была в Париже...»<sup>110</sup>; слова, обозначенные разрядкой, были затем изъяты. Сохранившиеся и печатаемые ниже письма Шатобриана, относящиеся именно к этой поре, показывают, какую цель преследовал автор, меняя редакцию: он желал своим безличным повествованием отвести читателя от интереса к его собственным связям с юродствовавшей баронессой, в которых он играл далеко не надменную роль. То же, ради тех же целей, сделал он и в V томе «Воспоминаний». Исследователь шатобриановского текста, Морис Леваян, говорит: «Фрагмент рукописи «Замогильных записок» 1848 г. свидетельствует, что в предыдущей редакции 10-й книги Шатобриан цитировал в этом месте одно или несколько писем г-жи Крюденер. Дело идет о начальных строках книги, описывающей посольство в Рим, в которых общими чертами резюмируется книга, посвященная г-же Рекамье: «Неизданные письма г-жи де Сталь, ... г-жи Крюденер сохранены». Выбросив тут самое письмо, Шатобриан забыл снять в следующей книге имя Крюденер»<sup>111</sup>.

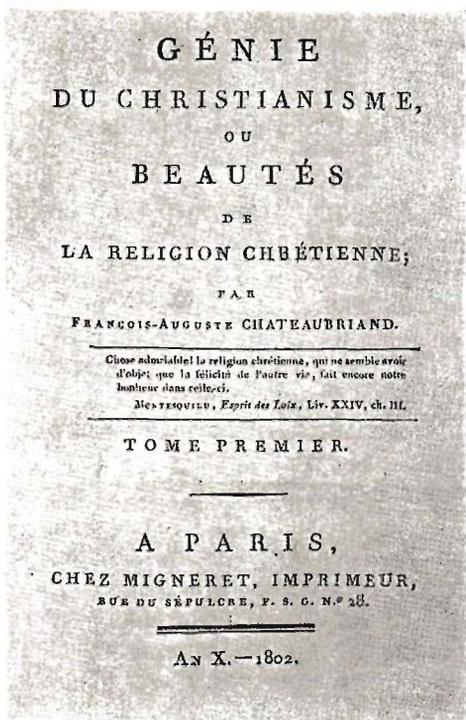
В той переработке, в какой знаменитая книга предстала читателям, крюденовская фигура мелькает всего в трех кратчайших упоминаниях: дважды иронически—в только-что упомянутом месте и затем в 4-й книге второй части II тома<sup>112</sup>, где приводится анекдот о перепалке двух сестер во Христе: Крюденер с иллюминаткой г-жой Куазлен,—и еще один раз, документально, письмом Крюденер, соболезнующей Шатобриану по случаю болезни г-жи де Бомон, первой женщины из общественно-признанного списка его подруг; но и здесь всё побуждает думать, что крюденовское письмо было сохранено поневоле: надо было иллюстрировать «власть, которую г-жа де Бомон, лишенная силы красоты, известности, могущества или богатства, имела над умами»<sup>113</sup>, между тем как никаких других свидетельств, кроме послания Крюденер, в шатобриановском арсенале не

было; ему пришлось использовать что есть. Наконец, сюда надо присоединить еще то, что рассказывает Эйнар, когда в 40-х годах, видимо, собирая материалы для своего двухтомника, он обратился к Шатобриану: «Мы не могли получить иного воспоминания, кроме следующего: „Я знал г-жу Крюденер светской, знал ее набожной,—она всегда оставляла меня ледяным“». Это—совершенно в тоне окончательной редакции «M. d'O. T.». Крюденеровский биограф комментирует: «... наивное и печальное признание человека, несчастье которого состояло в том, что он целиком посвятил себя созерцанию собственной обширной и благородной индивидуальности»<sup>114</sup>. Настоящая история их отношений была, на самом деле, совсем иной; шатобриановские письма крюденеровского архива сами по себе достаточно красноречивы, а сопоставление с эйнаровскими данными и намеками позволяет вообще четко обрисовать, как начались, менялись и оборвались взаимоотношения этих двух лиц.

Самое раннее письмо Шатобриана из сохранившихся в архиве Крюденер помечено серединой января 1803 г. Но это отнюдь не начало знакомства. Оно длилось уже два года. Более того: письмо даже завершает историю двухлетних отношений. Они были завязаны г-жой де Сталь. Ее благожелательность к Крюденер после примирения в 1801 г. выразилась не только в том, что она приняла гостью в свой интимный круг, но и в том, что она подумала всерьез о ее литературном пути и выбрала ей в наставники самую молодую знаменитость литературного дня, каким был в ту пору Шатобриан. Прошел только год с тех пор, как он вернулся во Францию весной 1800 г. после эмигрантских скитаний; но в апреле 1801 г. появилась в свет его повесть «Атала», и он оказался на авансцене: «Именно с выходом «Атала» возник шум, который я произвел в этом мире; я перестал жить самим собой, и моя общественная карьера началась...»<sup>115</sup>. Еще через год, в 1802 г., снова в апреле, он был уже автором официозного «Гения христианства»; наконец, год спустя, в мае 1803 г., он отъезжал государственным чиновником, бонапартовским дипломатом, секретарем французской миссии в Рим. Такова была его литературно-политическая карьера за три года, от начала знакомства с Крюденер до ее письма к нему в Рим.

Но и г-жа Крюденер глядела на эту восходящую звезду не посторонней зрительницей. Если всмотреться в то, о чем говорят источники, не остается сомнений, что она была в это время одним из ближайших к Шатобриану лиц. Проявлением особого положения Крюденер было уже ее присутствие среди избранного числа четырех лиц, которым было предложено чтение отрывков готовившегося к выходу «Гения христианства», происходившее у г-жи де Сталь. Званы были лишь два ее друга, Адриен де Монморанси и Бенжамен Констан, да Крюденер. Она была принята и в самом центре первого шатобриановского царства—в салоне г-жи де Бомон; но там это были «apparitions intermittentes»—«появления от случая к случаю»<sup>116</sup>,—зато, по сообщению Эйнара, сам «г. Шатобриан стал одним из завсегдатаев («habitués») салона г-жи Крюденер», который она завела у себя, «в небольшом помещении на Итальянском бульваре, неподалеку от Мадлен»<sup>117</sup>. Зная навыки Крюденер и положение Шатобриана, трудно не предположить, что шла борьба двух молодых салонов, где Шатобриан был средоточием. В зимний сезон 1801—1802 г. исход соперничества еще не был решен,—вернее, обе хозяйки салонов могли считать себя победительницами, ибо предмет борьбы оделял своим вни-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ  
„ГЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА“ ШАТОБРИАНА,  
1802 г.



манием каждую. Мы не можем иначе расшифровать тот небольшой эпизод, который так подчеркнуто-длинно рассказывает Эйнар о первом экземпляре «Гения христианства». Сообщая о завсегдагайстве Шатобриана в крюденеровском салоне, Эйнар говорит: «... Потому ли, что она просила его, или потому, что ему самому не терпелось (*«fut empressé»*), — она была почтена подношением первого экземпляра «Гения христианства» за два дня до поступления в продажу. Вследствие той неодолимой недоверчивости, какая была для него обычной, Шатобриан потребовал абсолютной тайны относительно внимания, которое ей было оказано, и г-жа Крюденер не собиралась нарушить ее, но, более неосмотрительная или менее опасливая, она оставила книгу в салоне в час, когда отправилась делать какой-то визит. Между тем, г-жа де Сталь появляется у г-жи Крюденер. Решив подождать ее немного, она входит и берет первую попавшуюся под руку книгу. Это был как раз том «Гения христианства». Она открывает его, погружается в чтение; карета ждет ее, она увозит книгу с собою. Г-жа Крюденер скоро возвращается. Поиски, опросы, разузнавания, расследования — все бесполезно: драгоценный том исчез... Она обвиняет себя в невольной нескромности, в нарушении данного слова, в оскорблении Шатобриана, в том, что сгустила облака между ним и его приятельницей. Она посылает за коляской, чтобы отправить падчерицу и настоять на возвращении книги... Лишь через три часа беспокойства падчерица, наконец, возвращается и объясняет причину, почему так задержалась: она нашла г-жу де Сталь наедине с Шатобрианом; в руке у нее был искомый предмет, и она с блеском вела беседу о красотах и недостатках произведения. Автор защищался, что как раз и требовалось, чтобы питать и оживлять вдохновение г-жи де Сталь. М-Не Крюденер была опьянена, ослеплена всем, что слышала, и привезла от автора полное отпущение грехов...»<sup>118</sup>.

Надо лишь отчетливо представить себе, чем был для Шатобриана 1800-х годов выход в свет «Гения христианства» и что, с другой стороны, означал, при шатобриановских навыках, такой жест, как преподнесение первого экземпляра капитального произведения до появления в свет, — чтобы понять, почему так подробно описывает Эйнар этот, казалось бы, малозначащий эпизод. Абель Эрман назвал шатобриановское подношение баронессе Крюденер «une faveur inouïe» — «неслыханной милостью», — слова чрезмерные в отношении молодого Шатобриана, годные скорее для самомнительной шатобриановской старости. Но, по существу, это так. Эйнар, рисовавший такие происшествия по живым воспоминаниям прикосновенных лиц, сохранил в рассказе эхо волнения, с каким ожидался в окружении Шатобриана выход в свет «Гения христианства». Все происходило прямо обратное тому, как представлял это дело потомству сам Шатобриан. Декоративно-маэстозный, задним числом изобретенный, принятый когда-то на веру, а теперь вызывающий улыбку основной шатобриановский тезис: «Я и Бонапарт» — «Я противостою Бонапарту», — не только неверен, но и неправдив; он неверен по фактам, он неправдив по намерениям. Он таков же, как всё в «Mémoires d'Outre-Tombe». К ним совершенно применимо то, что было сказано о мемуарах Талейрана, такого же «asteur consomme» — «сугубого лицедея»: «Они написаны, чтобы расцветить жизнь, а не выявить ее»<sup>119</sup>. «M. d'O. T.» — едва ли не самое неправдивое из того, что носит название мемуаров. Нет ничего более справедливого и обоснованного, чем характеристика, данная Марксом писательской физиономии Шатобриана вообще и его историческим писанием, в частности, в двух письмах к Энгельсу 1854 и 1873 гг. Разбору сознательных и несознательных искажений фактов, допущенных Шатобрианом в его «Веронском конгрессе», Маркс предпослал такую общую характеристику автора: «При изучении испанской клоаки я наткнулся и на почтенного Шатобриана, этого златоуста, соединяющего самым противным образом аристократический скептицизм и вольтерианизм XVIII в. с аристократическим сентиментализмом и романтизмом XIX. Разумеется, во Франции это соединение как стиль должно было создать эпоху, хотя и в самом стиле, несмотря на все артистические ухищрения, фальшь часто бросается в глаза. Что же касается политики, то этот господин сам вполне разоблачил себя в своем „Congrès de Véronne“...», а спустя двадцать лет Маркс подводит окончательный итог шатобрианизму следующей формулой: «Если этот человек во Франции сделался так знаменит, то потому, что он во всех отношениях являет собою самое классическое воплощение французской *vanité*, притом *vanité* не в легком фривольном одеянии XVIII в., а романтически замаскированной и важничающей новоиспеченными выражениями; фальшивая глубина, византийские преувеличения, кокетничание чувствами, пестрое хамелеонство, *word painting*, театральность, *sublime*, одним словом — лживая мешанина, какой никогда еще не бывало ни по форме, ни по содержанию»<sup>120</sup>.

В картине взаимоотношений с Наполеоном эти черты шатобриановских писаний проявились едва ли не более нарочито, чем где-либо. «*Vanité*» Шатобриана решается с первых же строк уравнивать две величины: автора «Атала» и Бонапарта. В действительной жизни Шатобриан был ничем для Наполеона-императора и кое-чем для Бонапарта-консула. Император просто игнорировал его, как никогда не игнорировал г-жу де Сталь и даже г-жу Рекамье, за которыми следил, которых преследовал;

а первый консул приспособил начинающего Шатобриана для своих целей и стряхнул со счетов при первой же его попытке к самостоятельным действиям. Нужны были большой литературный талант и выдающаяся решимость к сочинительству, чтобы беспредметную, в сущности, тему «Шатобриан и Наполеон» расшить так подробно и приподнято, как говорится в «M. d'O. T.» о появлении «Гения христианства», заблаговременно преподнесенного г-же Крюденер. «Замогильные записки» изображают выпуск в свет этого произведения, как опасный акт, как подвиг, грозивший гибелью автору. «*Tout paraissait annoncer ma chute...*»—«Всё, казалось, предвещало мне гибель»,—таково вступление в эту героическую ораторию фраз: «...Какую надежду мог питать я, человек без имени и без покровителя, разрушить в могиле Вольтера, чье господство длилось свыше полувека, Вольтера, который воздвиг огромное здание, законченное энциклопедистами и укрепленное всеми знаменитостями Европы? Как! Все эти Дидероты, Даламберы, Дюкло, Дюпюи, Гельвеции, Кондорсе стали умами, утратившими авторитет?.. Не было ли столь же странно, сколь и безрассудно, что неведомый человек противостоял философскому движению, такому неодолимому, что оно породило Революцию?..»<sup>121</sup> и т. д., и т. п.,—словом, битва одинокого Персея с чудищем. А на деле Шатобриан шел в бонапартовской процессии и выкликал Бонапарту хвалы. Существовала несомненная организованность в последовательности происшествий: празднования государственного восстановления католицизма, выпуска в свет «Гения христианства» и появления в прессе хвалебных статей тому и другому. Даже апологетические биографы Шатобриана не могут не отметить, что «совпадение [выхода книги] с торжественным празднованием культа, по внешности явившееся, якобы, результатом счастливой случайности, было, в действительности, итогом режиссерского искусства, какое не раз умел проявлять автор»<sup>122</sup>; и в самом деле, «Гений христианства» был выпущен за четыре дня (24 жерминаля X года—14 апреля 1802 г.) до торжественной церемонии рекатолицизирования Франции (28 жерминаля—18 апреля 1802 г.) и явился одним из официозных этапов подготовки праздника, в связи с чем и был встречен торжественным хором наполеоновской и клерикальной прессы<sup>123</sup>, как четыре дня спустя торжественным хором, певшим «*Te Deum*», было встречено вступление кортежа первого консула на паперть Нотр-Дам. Подчеркивая смысл выпуска шатобриановской книги, официальный «*Moniteur*» в этот самый день перепечатывает статью Фонтана из «*Mercur*», придав, тем самым, ее похвалам государственную санкцию<sup>124</sup>. Да и самим Шатобрианом было непосредственно в самой книге засвидетельствовано его вступление в бонапартовскую свиту; он потом стирал эти следы и, разумеется, ни единым словом не упомянул о них в «M. d'O. T.»; но экземпляры первого и второго изданий, покрытые роскошным переплетом и разосланные Наполеону и членам его семьи, содержали предисловия, в которых поминался, сначала обиняками, «тот, которому была дана вся сила умиротворить свет и доверена вся власть восстановить Францию», а затем говорилось прямо и громогласно: «нельзя не видеть в судьбах ваших руку провидения... народы взирают на вас; Франция, возвеличенная вашими победами, кладет все упование свое»<sup>125</sup>. В обстоятельствах 1802—1803 гг., когда конкордат и церемония в Нотр-Дам вызывали у действительной оппозиции возмущение и тайное сопротивление, эти посвящения Шатобриана и официальная санкция, данная его книге, означали

ожидание и предзнаменование милостей, а назначение на секретарский пост в римскую миссию было проявлением их. «Эту милость принесло ему,—сообщают «Донесения агентов Людовика XVIII»,—двойное посвящение, которое он сделал в своей книге первому консулу и папе, и, может быть, еще больше, чем это, покровительство Фонтана»<sup>126</sup>.

Теперь понятно, чем было, на самом деле, со стороны Шатобриана доверительное вручение г-же Крюденер экземпляра «Гения христианства» до выпуска в свет и какого рода нескромность была совершена ею: обнажались нити шатобриановской режиссуры, его шествие в Каноссу становилось до времени достоянием гласности, да еще такой антибонапартовской звонницы, каким был салон г-жи де Сталь<sup>127</sup>. Вместе с тем, всё в рассказе Эйнара наводит на мысль, что не столь уж случайно разыгрался эпизод с этим первым экземпляром; едва ли мы обманемся, если предположим, что тут действовала своя, крюденеровская, режиссура—желание показать трофей, якобы, невзначай похвастать им: г-жа де Сталь и ее свита, и г-жа Бомон и ее круг равно получали доказательство крюденеровского влияния и победы. Слишком большое совпадение случайностей у Эйнара: случайно не спрятанная книга, случайная отлучка из дому, случайный визит г-жи де Сталь, случайно подвернувшийся ей запретный том и т. д.

Так или иначе, эпизод с похищенным томом освещает взаимоотношения Крюденер и молодого Шатобриана светом такой близости, что понятна нарочитая сдержанность, с которой Эйнар заключает характеристику этих взаимоотношений в 1802 г.: «Видя одушевление и любезность, какими он отличался у г-жи Крюденер, можно было полагать, что он находится под впечатлением обаяния, которое она вызывала у всех, к кому приближалась... Во всяком случае, между нею и Шатобрианом была общей та тяга к дерзновенному («*sôté aventureux*»), непредвиденному, то влечение к фантастическому,—теория у него, чувство у нее,—которые создавали между ними таинственную связь. Бывал ли он у нее, чтобы наименее неудобно «зевая, проводить жизнь»? Обманулась ли в нем г-жа Крюденер? Надеялась ли она пробудить более звонкое эхо у автора «Атала»? Это было достаточно ей свойственно, чтобы такое предположение было законно, и мы не были бы изумлены, если бы в определенную пору она считала его среди своих поклонников («*ses fidèles*»)»<sup>128</sup>.

Этого довольно, чтобы видеть, каковы были, в действительности, притязания и поведение обеих сторон,—и мы понимаем теперь, почему под пером Крюденер, в письмах к Гэ, Шатобриан выступает наиболее капитальной фигурой, когда перечисляются опоры будущего успеха «Валерии»: «Шатобриан очень любит Сидонию, говорит, что она делает изумительные успехи, и зовет ее вернуться...»; «Шатобриан в восхищении от моей „Валерии“»; «Шатобриан сказал мне также, что лучшее произведение, напечатанное в провинции, не имеет успеха...» и т. п.<sup>129</sup>. Крюденер, несомненно, имела право ссылаться на Шатобриана, но лишь с одной поправкой: она все же несколько мистифицировала своего фактотума,—вчерашний день она выдавала за сегодняшний; ее письма относятся к началу 1803 г., а к этому времени положение изменилось не в пользу Крюденер. Г-жа де Бомон одержала верх, она стала «*amie attitrée*» Шатобриана. Это не помешало ему продолжать помогать Крюденер,—конечно, в тех пределах, на какие он был вообще способен, т. е. втихомолку, за кулисами, ни мало не связывая себя публично. Он мог в щедрую минуту даже обе-

щать статью о «Валерии», и, может быть, Крюденер, сообщая доктору Гэ о четырех ожидаемых ею похвальных отзывах, не фантазировала; но не в его навыках было осуществлять такие обещания. Прочсть рукопись, сделать пометки, кое-где даже пройти пером, дать литературный и издательский совет,—на это его хватало. Именно таково его письмо, сохраненное крюденеровским архивом и являющееся ответом на обращение Крюденер, присланное из Лиона.

(1)

Париж, 17 января 1803 г.<sup>130</sup>

Пример г-жи де Сталь отнюдь не должен пугать вас, сударыня. Подумайте о том, что большинство суждений о «Дельфине» было продиктовано политическими соображениями. Вы же ограждены от этих партийных пристрастий. Г-жа де Коттен, г-жа де Флао и некоторые другие дамы, печатавшие романы, не подвергались оскорблениям, которые испытала ваша злосчастная приятельница. Но если вы сочтете нужным издать свое сочинение, советую вам сделать это в Париже. Провинциальные издания не пользуются здесь никаким успехом, и предубеждение, существующее против провинциальных книг, в состоянии провалить лучшее произведение. Итак, приезжайте в Париж, сударыня. Здесь вы найдете друзей, которые будут рады увидеть вас и услышать чтение ваших прелестных сочинений. Я пишу вам в постели, где меня держит лихорадка,—прошу извинить эти каракули и верить в искреннюю преданность покорнейшего из ваших слуг.

Шатобриан

Адрес: Госпоже Крюденер.

Дом Ветье в Лионе.

Д-т Роны



„ВЕЛИКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД БЕССИЛЬНЫХ в 1815 г.“

Французская карикатура эпохи „Ста дней“, высмеивающая выступление европейских монархов против Франции. Изображены: Александр I и император австрийский Франц II, король прусский Фридрих-Вильгельм III и король английский Георг III, королева Луиза и Блюхер, русский казак, везущий назад в Париж сидящего за его спиной Людовика XVIII

Музей Пушкина, Москва

Письмо—деловое и дружественное. Крюденеровского послания не сохранилось, но содержание его ясно, и тревоги Крюденер нам уже знакомы. В панике, вызванной опасением, что «Валерия» разделит участь «Дельфины», она обратилась к другу, который в качестве официально поощряемого писателя, с одной стороны, и редактора ее рукописи—с другой, мог вернее, чем кто-либо, сказать, не грозит ли ей повторение того, что случилось с г-жой де Сталь. Ответ Шатобриана успокаивал и льстил ее самолюбию. Сравнение с произведениями г-жи Коттен и г-жи Флао отнюдь не звучало пренебрежительно. Если нынешнему читательскому уху эти имена кажутся, по забывости своей, ничтожными, то для тех лет они звучали иначе; какой другой пример мог бы привести Шатобриан? Он говорил о писательницах той же школы и того же направления; это были популярнейшие из представительниц женской литературы, сочинительницы раннеромантических повестей и романов, с женскими именами в заглавиях и женскими судьбами на страницах,—подлинных *pendant* к «Дельфине» и «Валерии»<sup>131</sup>.

Подобное письмо должно было оживить притихшую было энергию Крюденер, и, действительно, ее письма к Гэ, в которых она с такой настойчивостью пытается обеспечить успех готовящейся к выпуску «Валерии», все датированы ближайшими месяцами к шатобриановскому письму, весной 1803 г. Сам Шатобриан в мае отбыл, наконец, в Рим на пожалованный дипломатический пост и непосредственно быть полезным ей в Париже больше уже не мог; но из виду она его не выпускала. Следует обратить внимание на то, что до сих пор не отмечалось: ее письмо к нему в Рим послано вскоре по выходе «Валерии»; книга вышла в десятых числах декабря 1803 г., а письмо отправлено 24 декабря; таким образом, наступили решительные дни для борьбы за успех, дни моды à la Valérie, дни рецензий, и Крюденер напоминала о себе, о шатобриановском обещании,—напоминала с редкой женской ловкостью, складывая оружие перед теми обоими, с кем и за кого недавно боролась; теперь, в качестве бескорыстного друга, она соединяла два их имени: «Вы должны знать мою искреннюю привязанность к вам; выказать вам подлинный интерес, какой вызывает во мне госпожа де Бомон,—значит тронуть вас больше, чем если бы я занималась вами... Я надеялась, что она обретет крупицу здоровья в солнце Италии и в счастье вашего присутствия. ... Ах, успокойте меня, напишите мне; скажите ей, что я искренно люблю ее, что я молюсь за нее... Я думала, ей лучше, я ей не писала, я была завалена делами; но я думала о счастье, которое она испытает, увидя вас, и я могла понять его. Напишите мне хоть кратко о вашем здоровье, верьте моей дружбе, интересу, который навсегда буду я питать к вам, и не забывайте меня...»<sup>132</sup>.

Шатобриану было угодно выдать это за доказательство «власти г-жи Бомон над умами». Его ответа в крюденеровском архиве не существует. Но ответил ли он? Не уклонился ли он от корреспонденции так же, как уклонился от отзыва о «Валерии», которую, как никак, он имел больше права именовать «незаконнорожденной дочерью Рене и Дельфинь»<sup>133</sup>, чем это представляется с первого взгляда? Нет у нас также никаких следов того, что официальная неприятность с «Валерией» вызвала с его стороны какой-либо отклик, а ведь он оказался дурным пророком, и в таком качестве был виновником подношения «Валерии» первому консулу. Вообще связь Крюденер с Шатобрианом сразу обры-

ваются—они стали ненужны друг другу: он уже через три месяца, в марте 1804 г., после своей пресловутой отставки с поста французского дипломатического представителя в Валэ, становится опальным человеком, ведущим частное существование; она тоже отбывает далеко, во-свояси, в Ригу. На целое десятилетие они забывают друг о друге.

Они снова вспомнили о взаимном существовании, когда—один в свите импортированного короля, другая одесную интервента-императора—они встретились в оккупированном Париже в 1815 г. Теперь, в сравнении с их отношениями 1802 г., роли оказались перераспределенными: он являлся просителем, она—покровительницей. Шатобриан в автобиографии решил привычно обойти эту неприглядность. В «M. d'O. T.» нашлось место для подробностей его местничества с ненавистными министрами, вставшими на пути его карьеры при Людовике XVIII, но забыто о его хождениях на поклон к всевильной Крюденер и о свидании с Александром I. Автор, правда, заставляет мелькнуть пред нами мимоходом, в самом конце тома, парижский облик Крюденер в роли «пророчицы», но ни один читатель не сможет сказать, пробежав его иронические строчки, что Шатобриан был не посторонним наблюдателем парижской деятельности Крюденер, а соучастником ее затей. В 10-й книге «M. d'O. T.» он дал Крюденер место в кортеже восхвалителей госпожи Рекамье: Крюденер умоляет Рекамье не столь блистать красотой на собраниях паствы, ибо это вносит соблазн в умы; только в связи с этим событием Шатобриан припоминает, что видел Крюденер в парижской сумятице 1815 г.: «Госпожа Крюденер последовала за союзниками, появившимися снова в Париже. Она перешла от романа к мистицизму; она оказывала большое влияние на ум российского императора. Это она дала союзу монархов Европы наименование Священного. Госпожа Крюденер помещалась в одном из отелей предместья Сент-Оноре. Сад отеля доходил до Елисейских полей. Александр появлялся и н к о г н и т о через садовую калитку, и политико-религиозные беседы кончались ревностными молениями. Госпожа Крюденер пригласила меня на одно из этих небесных волхвований. Во мне, человеке всех химер, живет ненависть к бессмысленному, отвращение к туманному и презрение к фокусничанию: тут нельзя быть совершенным. Сцена наскучила мне; чем сильнее старался я молиться, тем сильнее ощущал я сухость души. Мне нечего было сказать богу, а сатана толкал меня к смеху. Я больше любил г-жу Крюденер, когда среди цветочных гирлянд, еще живая в этой брэнной земле, она сочиняла „Валерию“...»<sup>134</sup>. Не сохранись в архиве записок Шатобриана к Крюденер, можно было бы поверить, что концом их отношений, в самом деле, надо считать надменную фигуру виконта, созерцающего моление царя московитов и его пророчицы. На деле, опять-таки, было иное. Эйнар, видевший архивные письма и слышавший свидетельские рассказы, писал: «Он вернулся в этот ранг [ее поклонников] в 1815 г. и пытался использовать ее большое влияние на императора в пользу Бурбонов. Однако, надо сказать, что по мере того, как императорская благосклонность и людское внимание к г-же Крюденер падали, г. Шатобриан без особых усилий освобождался от иллюзий дружбы...»<sup>135</sup>.

Иллюзии дружбы длились, пока длились иллюзии политики. Это было недолго вообще, около двух с половиной месяцев,—и еще короче для Шатобриана, около четырех недель. Представительство Крюденер, в качестве вдохновительницы Священного союза, продолжалось

с середины июля по конец сентября 1815 г.; попытки Шатобриана использовать ее для своих целей приходится на середину августа — середину сентября. Этого времени было достаточно, чтобы Шатобриан убедился, что его партнерша — не совсем то, что ему представлялось. По внешности, в самом деле, ничто не могло быть необычнее и ослепительнее положения Крюденер: российский император — глава союза монархов, а она — его наставница, исповедница, направительница, совершающая свое дело не где-нибудь во тьме кулис, а лицемерно, открыто, на глазах потрясенной и озадаченной Европы; император исповедуется ей в помыслах, император выслушивает ее наставления, император участвует в ее молебствиях, император принимает рядом с ней парад армии. Но за кулисами были подлинные хозяева, которых Шатобриан не знал и знать не мог; они держались в придворной тени и не привлекали внимания; это был действительно интимный кружок возле Александра, ведущий борьбу за свои личные и политические цели, нуждающийся в декоративных, отвлекающих внимание прикрытиях; тут было несколько женских фигур, и среди них одна мало ведомая еще европейскому свету, где ее короткое прохождение совершится позднее, в 30-х годах<sup>136</sup>, — фрейлина императрицы и ее соперница, Роксандра Стурдза, фанариотка и в этом качестве — сподвижница Каподистрии, мистагог и в этом качестве — единомышленница Крюденер. Умная, но скрытная, она ждала будущего. С Крюденер она познакомилась в 1814 г., в Карлсруэ, где находилась среди фрейлин Елизаветы Алексеевны. Именно через Стурдзу Крюденер установила сначала общение с императрицей<sup>137</sup>, но скоро разглядела нити, ведущие от Роксандры к царю, и стала предрекать великую будущность ей и мировую славу ему; она писала Роксандре, — в правильной надежде, что письма могут попасть к царю: «Вы хотели рассказать мне о великих и глубоких красотах души императора. Мне кажется, что я многое знаю о нем. Я знаю уже давно, что господь даст мне счастье узреть его...» (27 октября 1814 г.); «... Я говорила вам о моем почтительном и глубоком восхищении императором. Величие его миссии до такой степени открыто мне, что непозволительно больше сомневаться. Я восславляла величие господне, которое ниспослало такое благословение на это орудие милосердия своего...»; «Да, я убеждена, дорогой друг, что должна сказать ему об огромных вещах, и хотя бы князь тьмы сделал всё возможное, чтобы помешать этому и удалить тех, которые могут ему сказать о делах божественных, превышний окажется сильнее» (4 февраля 1815 г.)<sup>138</sup>. В соединении с пророчествами: «l'orage s'avance... ces lys ont paru pour disparaître» — «гроза приближается... эти лилии появились, чтобы исчезнуть», в которых было обыденное запугивание возвратом революции и которые потом были истолкованы, как предвидение «Ста дней», этот пра-распутинский язык свидетельствовал о полном понимании обстоятельств и готовности быть скромной и полезной. Роксандра приглядывалась, взвешивала; потом приняла, стала исподволь готовить Крюденер к нужной роли, как об этом свидетельствует их переписка<sup>139</sup>. Наконец, наступил момент, когда и Крюденер дано было перешагнуть порог императорского кабинета. Их первое свидание состоялось в Гейльбронне, на пути к Гейдельбергу, когда царь направлялся из Вены в действующую армию<sup>140</sup>. Крюденер сразу начала с возвышенных обличений, потом перешла к верноподданническим извинениям, получила, конечно, ожидаемое: «Нет, сударыня, продолжайте, ваши слова — музыка

для души моей», проговорила непрерывно три часа,—и ее выступление на авансцену истории началось<sup>141</sup>. Через несколько месяцев, когда продолжать это придворно-мистическое представление было не к чему и оно стало обертываться смешной стороной, Крюденер была удалена. В октябре 1815 г. ей пришлось покинуть Париж, и она снова вошла в тень, на этот раз окончательно.

Даже если бы Шатобриан был посвящен в «les envers des événements»— «в изнанку событий», которой он манит читателей «M. d'O. T.»<sup>142</sup>,—не в его возможностях было миновать Крюденер и добраться до настоящих вер-

Verrai-je le matin Madame  
l'homme de nos espérances? Et  
à quelle heure aurai-je l'honneur  
de lui faire ma cour?  
adieu, Madame la baronne,  
Mon mariage de tout mon respect.  
Le Comte de Lamoignon  
Ce jeudi 27 Septembre 1815

АВТОГРАФ ЗАПИСКИ ШАТОБРИАНА К Ю. КРЮДЕНЕР, СЕНТЯБРЬ 1815 г.  
Шатобриан спрашивает о дне обещанного ему Крюденер свидания с Александром I  
Публичная библиотека, Ленинград

шителей дел. Он был второстепенным придворным Людовика XVIII, который сам был еще предметом политического торга не только монархов и дипломатов коалиции, но и собственных министров, ведущих свою торговлю с союзниками. Никогда еще положение Шатобриана не было так тягостно и унижительно, как в эту пору: он считал себя менее писателем, чем государственным деятелем, но его притязания встречали даже не отпор, а равнодушие,—их не замечали или делали вид, что не замечают. Его настойчивое пребывание в кругу Людовика XVIII, его упорные поездки вслед за бегущим королем во время «Ста дней», когда старались отстать, застряв на дороге все, кто мог, ему не помогли. Если в канун «Ста дней» ему дали звание министра внутренних дел—пост, который сразу стал беспредметен,—то после окончательного вос-

становления Бурбонов он не только не получил ничего, несмотря на свои беседы с непокидаемым монархом, но должен был, сидя у королевских дверей, видеть, как туда министрами входят «порок под руку с преступлением»<sup>143</sup>—прихрамывающий Талейран, поддерживаемый скользящим Фуше,—ненавистнейшие из ненавистных Шатобриану лиц. Летом и осенью 1815 г. он был, можно сказать, ничем: ему поручили председательство в избирательной коллегии департамента Луарэ при выборах в Палату депутатов 1816 г., а затем назначили пэром, но этого было чрезмерно мало для его честолюбия. Недовольство быстро двигало его в ряды монархической оппозиции, к которой он и примкнул спустя некоторое время. Но пока союзники пребывали еще в Париже, судьба Франции еще не окончательно была определена и соотношения сил внутри и вовне не определились, стоило за себя бороться и имело смысл искать путей.

Появление Крюденер открывало Шатобриану неожиданные возможности. Основной обязанностью, возложенной на Крюденер, было собиране в новооткрытом ею салоне сливок парижского общества и обработка светского мнения в направлении, нужном александровской политике; одним из мотивов ее спешного вызова в Париж являлась уверенность, что она может без труда оживить свои бывшие знакомства и втянуть значительный и влиятельный круг людей в орбиту политических планов Александра I. В значительной мере этими расчетами объясняется публичный маскарад, разыгрывавшийся в салоне Крюденер, шумное афиширование ее мистической близости к императору, его широко известные посещения отеля Моншеню, свидания с лицами высокого парижского света, которых Александр принимал по ходатайству Крюденер, и т. п. Расчеты были правильными: среди нескольких салонов, открывших свои двери по миновании «Ста дней», крюденовский стал самым видным и самым модным. Таланты Крюденер были на высоте принятой роли: тон ее обличений и пророчеств был повелителен, представления были виртуозны, люди приходили позабавиться, но уходили озадаченными: «Не мало парижских остроумцев, шедших послушать ее в большом салоне предместья Сент-Оноре, открытом для всех, возвращались если не убежденными, то, по крайней мере, очарованными и впечатлениями и личностью...»<sup>144</sup>. Самое заявление Шатобриана, что он остался холоден, свидетельствует о его желании противопоставить себя тем другим, на которых это действовало. Нет оснований оспаривать это утверждение: у шатобриановского совершенного эгоизма никогда не кружилась голова от посторонних его притязательности вещей; он сам умел устраивать представления не хуже крюденовских, но только более тонкие, изысканные, не отдававшие азиатчиной: чтения «Замогильных записок» в *Abbaye aux Bois*—тому свидетельство.

В крюденовском салоне Шатобриан держался руссофилом, точнее—александровфилом, в противность своим политическим соперникам, делавшим ставку на английскую или на австрийскую карту в борьбе членов Священного союза вокруг Франции. Теперь, когда наполеоновская опасность была начисто устранена, Александру нужна была сильная Франция, как противовес слишком выросшему вновь значению Англии, Австрии и отчасти даже Пруссии. Этих троих, наоборот, устраивала Франция ослабленная, связанная, идущая на поводу их политики и их целей. Александр не выиграл игры. Он оказался изолированным; он

встретил почтительное, но твердое противодействие. Но в августе 1815 г. итоги еще не были окончательными, а франкофильство русского императора было программно и открыто. Шатобриан мог надеяться, что он принесет из крюденеровского отеля дар королю и карьере себе. Но ему пришлось ждать. Крюденер сочла нужным вспомнить о нем не сразу, а лишь через месяц после своего прибытия в Париж, уже в разгар приемов, молебствий, пророчеств и интриг. Такое запоздание показывает, что Шатобриан был не из тех, кто мог считаться «человеком дня».

Что дало повод вспомнить о нем? Может быть, его орлеанские дела; но не исключено и то, что ему пришлось самому стороной напомнить о себе,—скорее всего, через ту самую герцогиню Дюрас, которая в это время была подругой Шатобриана и чей визит вместе с ним засвидетельствован самой Крюденер. Приглашительная записка Крюденер неизвестна, но ее дату мы можем установить по ответу Шатобриана, оказавшемуся в неопубликованном архиве Крюденер: ее приглашение было послано, видимо, того же 12 августа, что и его ответ,—едва ли Шатобриан ответил не сразу. Он писал:

(2)

[Париж] Суббота, 12 августа 1815 г.<sup>145</sup>

Я не знал, баронесса, что вы в Париже и что вы были добры вспомнить обо мне. Я сейчас уезжаю в Орлеан и вернусь к концу месяца. Я поспешу засвидетельствовать вам свое почтение немедленно по возвращении в Париж. Прошу вас, баронесса, принять уверение в сердечном и почтительном моем уважении.

Госпожа де Шатобриан будет иметь честь лично передать вам эту записку.

Как видим, в этих немногих строчках он уместил всё, что нужно было: и отомщение за долгое невнимание, и указание на свою крайнюю занятость, и готовность на достойное примирение. Первая фраза, в самом деле, удивительна: «Я не знал, баронесса, что вы в Париже...»—весь блеск крюденеровского положения, все толки и пересуды Парижа, все императорские свидания, все вереницы визитеров и домогателей,—всё стиралось: в его, шатобриановское, блистательное уединение не докатывается шум суеты вообще, в частности же, он совершенно поглощен государственными делами и отбывает в Орлеан вершить их; но, освободившись, будет рад возобновить знакомство и даже поручает самой г-же де Шатобриан немедленно и лично отвезти записку и установить предварительное общение.

Предлог для нужной достоинству Шатобриана отсрочки свидания был выбран им хорошо: его орлеанских обязанностей председателя выборной коллегии было достаточно. Мы говорим о предлоге, а не о подлинном препятствии потому, что, в действительности, особой спешки не было; Шатобриан находился как раз в промежутке между двумя этапами своих обязанностей; открытие избирательных коллегий должно было состояться лишь через десять дней—22 августа, а необходимые предварительные действия были уже позади: 7 августа, из Парижа, каждому выборщику департамента Луарэ было разослано Шатобрианом циркулярное письмо с призывом голосовать за легитимистских кандидатов в Палату: «В трудных обстоятельствах, в которых мы пребываем, сударь, важно для чести

и благоденствия Франции, чтобы выбор избирателей пал на людей достойных и осторожных, верных своему королю, преданных своей стране, знающих законы королевства, блюдущих те принципы нравственности, кои составляют основание всякого политического строя и без коих нет прочности учреждения...» и т. д.<sup>146</sup>.

Вполне правдоподобно, что этот манифест был доставлен Крюденер и послужил напоминанием об авторе: предположение обосновывается тем, что в следующем письме Шатобриан упоминает уже о желании Крюденер получить его предвыборные речи. Кто мог сообщить о них Крюденер, как не близкое к Шатобриану лицо?—а крюденовский интерес свидетельствует, что за подобного рода политическими выступлениями русские круги следили и что шатобриановский манифест 7 августа тоже не миновал крюденовских рук.

Ближайшее письмо Шатобриана явилось как раз сопровождением пересылаемой орлеанской речи. Письмо написано через неделю после ее произнесения, по возвращении Шатобриана в Париж.

(3)

Париж, 31 августа 1815 г.<sup>147</sup>

Я поспешил бы, сударыня, явиться засвидетельствовать вам свою почтительную преданность, если бы тысяча дел не задерживала меня. Я возвращаюсь из Орлеана в восторге от всего того, что видел, преисполненный надежд в отношении нашей несчастной родины, особенно, если некий великий монарх желает помочь нам.

На всем протяжении Франции произошло нечто вроде чуда, на которое не обращают достаточного внимания. Те самые избиратели, [которые в течение пятнадцати лет облекали доверием людей, враждебных всем принципам общественной нравственности и веры, теперь, ко всеобщему изумлению, сделали выбор по большей части превосходно. Франция, наконец, будет иметь представительство христиан и людей той старой французской расы, которая пользовалась уважением всей Европы. Разве здесь нет особого благоволения провидения? Если мы хорошо используем эту подлинную милость], мы сможем избежать своей гибели. Сколько славы для великодушного монарха, вызывающего у вас восхищение, несомненно, не более, чем у меня, если, одержав победу оружием, низвергнув с трона нашего притеснителя, он низверг бы еще и нашу революцию! Что для этого нужно сделать, сударыня? То, на что я указывал в речи, которую вы у меня просили и которую я имею честь вам препроводить: избирать [добродетельных, устранять грешных; пока нечестивость и все преступления будут пользоваться покровительством, мы будем все еще ожидать избавления из бедны, и это огромное население, которое только-что проявило свою мудрость превосходными выборами, потеряет плод единственных усилий, которое оно сделало за 15 лет, чтобы подняться. Я хотел бы, сударыня, чтобы] моя речь получила ваше одобрение. Надеюсь, что, по меньшей мере, чувства и убеждения порядочного человека вы в ней найдете.

Остаюсь, сударыня, с почтением, одним из самых давних и самых преданных слуг ваших.

Виконт де Шатобриан

Две разительные черты останавливают в этом письме: во-первых, специфический язык важнейших фраз, долженствующих остановить особое

ЮЛИЯ КРЮДЕНЕР.  
Немецкая литография 1815—1820 гг.  
Литературный музей, Москва



внимание Крюденер; ссылка на орлеанскую речь вполне декоративна— в ней нет и не могло быть того, чем наполнено письмо; речь грозит населению репрессиями коалиции, ежели не будут выбраны «порядочные люди»; речь требует устранения смутьянов и т. п.: «Французский народ увидит монархов на трибунах своих палат; раньше он был судьей властителей земли, ныне, в свой черед, он будет судим ими. Речь идет о том, чтобы знать, будем ли мы признаны неспособными сохранить учреждения, которых мы искали сквозь столько бурь... Что же надо делать, господа?.. Нетрудную вещь: избирать добропорядочных, устранять злостных. Пусть Франция призовет в помощь себе порядочных людей, и Франция будет спасена...» и т. д.<sup>148</sup>. Эта политическая проза в письме претерпела мистико-поэтические превращения. В письме не шатобриановский тон, не его слог, не его оттенки, и не уши французских избирателей 1815 г. могли внимать этому. Шатобриан бьет Крюденер челом ее же добром: «представительство христиан», «особое благоволение провидения», «использовать последнюю милость», «избавление из бездны» и т. п.—все это взято напрокат из крюденеровского пророческого арсенала. А Шатобриан еще утверждал, что не знал о пребывании баронессы в Париже,—не только, конечно, знал, но осведомлялся о ее речах, изучал ужимки и гримасы ее словоупотреблений, усваивал их: он уже примеривался, как изложить свою политическую линию и свои министерские домогательства применительно к терминологии, привычной для слуха Александра; он оказывал этим и *hommage* самой изобретательнице, Крюденер.

Для Крюденер не могло быть никакого сомнения в том, что Шатобриан просит о покровительстве и посредничестве между ним, представителем русской ориентации среди французских политиков, и «великодушным монархом», коим она, Крюденер, «восхищается, несомненно, не больше, нежели он, Шатобриан. В этом прямом обращении к Александру с предложением одобрить шатобриановскую линию во французской политике («Что для этого нужно сделать? То, на что я указывал в своей речи...») — основной смысл обращения Шатобриана к Крюденер. Своим письмом еще до первого, личного визита он очертил то, на что надеется и чего хотел бы.

Крюденер отнюдь не сочла нужным сразу пойти ему навстречу. Она позволила себе встретить визит Шатобриана сугубо пророчески, представ перед ним в облике божьего судьи над Францией, ее монархом, ее народом. Шатобриан явился, к тому же, не один; его сопровождала герцогиня Дюрас. Тем театральнее держалась Крюденер. Она, видимо, осталась довольна собой и поспешила описать этот эпизод, на следующий же день после шатобриановского визита, в письме к своей неизменной наперснице Арман; она сообщает: «Вчера герцогиня Дюрас и Шатобриан беседовали со мной. Мы говорили о возмездиях, тяготеющих над Францией, и я ответила им, когда они сказали мне о большой моей власти над известной особой: „Эта особа—лишь прах и кусок плоти («bras de chair»). Господь дарует мне милость беседовать с ним. Господь внушает ему любовь к истине; но он ничего не может сделать для Франции. Для этой страны не осталось ничего иного, кроме как достойно покаяться («amende honorable»), принять унижение и просить пощады у подножия креста, покинутого уже столько времени, и громогласно исповедаться пред Иисусом Христом... Пусть же король, пусть вельможи и народ покаются, бия себя в грудь...“»<sup>149</sup>.

Это можно было стерпеть только в ожидании свидания с Александром и в надежде на менее богословскую беседу с ним об интересах Франции. И действительно, отблестав грозным ликом, Крюденер повернулась ликом ласковым. Она готова была показать реальность своего влияния на императора. Она согласилась представить письмо Шатобриана с конспектом орлеанской речи Александру; она не исключала возможности личной встречи автора с царем. Письмо, в самом деле, было представлено и прочтено<sup>150</sup>. Свидание было обещано. Как всегда в делах с высокими особами, оно оттягивалось,—возможно, назначалось и отменялось. Наконец, в начале сентября оно было определено на утренние часы; но Шатобриан, по опыту, еще сомневался, состоится ли оно и на этот раз. Его записка к Крюденер свидетельствует, что в лице-зрении «Человека наших надежд», как сейчас титуловал он царя, у него не было уверенности.

(4)

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>151</sup>

Увижу ли я сегодня утром, сударыня, Человека наших надежд, и в котором часу я буду иметь честь ему представиться?

Примите, баронесса, уверение в совершенном моем почтении.

Виконт де Шатобриан

Четверг, 8 часов утра.

Адрес: Баронессе Крюденер.

Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Свидание состоялось. Оно прошло в присутствии Крюденер, представившей Шатобриана царю<sup>152</sup>. Нет сведений относительно подробностей встречи и поведения каждого из участников, но общее содержание и результат беседы могут быть установлены с достаточным вероятием по нескольким данным. Как раз в сентябре усилия Александра выиграть борьбу за свою политику во Франции вступили в последнюю фазу, но уже с явным итогом безуспешности. Спротивление Англии, Австрии и даже Пруссии обозначилось окончательно. Александр мог благосклонно выслушать Шатобриана, но должен был сам уклониться от каких-либо

обязывающих слов. Это соответствовало его навыкам вообще, а обстоятельствам момента и собеседнику, в частности. Можно предположить, что он перевел беседу, в связи с прочитанным орлеанским письмом, на писательство Шатобриана и выразил желание познакомиться с его сочинениями. Это предположение вытекает из последовавшей записки Шатобриана к Крюденер, отправленной, повидимому, после свидания с царем.

(5)

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>153</sup>

Вчера, баронесса, было воскресенье, и типографы не работали. Я надеюсь получить ваши экземпляры завтра и буду иметь честь доставить их вам лично. Приношу вам тысячу благодарностей, баронесса, за всё, что вы делаете для моей несчастной родины.

Примите уверение в моем почтительном уважении.

Виконт де Шатобриан

Понедельник вечером.

Податель этой записки — мой друг. Он сможет сообщить вам кое-что о нашем положении.

Адрес: Баронессе Крюденер  
в Париже

Слова «ваши экземпляры» могут означать только: нужные вам, или предназначенные вам экземпляры шатобриановских произведений. Но каких? Новой работы в эту пору он не печатал. Последняя крупная политическая вещь, «О Бонапарте и Бурбонах», вышла свыше года назад, в марте 1814 г., и несколько месяцев назад, в период «Ста дней», он представлял королю, во время бегства, меморандум о внутреннем положении во Франции («Rapport au roi sur l'Etat de la France au 12 mai 1815»). Об этом ли идет речь? Или же он подносил царю «Гения христианства» и «Мучеников»? Это вероятнее, если вспомнить, что Шатобриан в своем «Веронском конгрессе» говорит об интересе царя к его религиозным воззрениям. Так или иначе, явно, что с представлением экземпляров его торопили, он же, видимо, по обычаю, дал типографии сделать особые переплеты для подношения высокой особе, а типография задерживала. Связь этого маленького эпизода с большими надеждами Шатобриана, вынесенными из свидания, явствует из заключительной фразы записки — благодарности «за всё, что вы делаете для моей несчастной родины».

Но дальше следы вдруг обрываются. Ни в крюденеровском архиве, ни, тем более, в шатобриановских материалах нет продолжения этой истории, как и вообще последующих отношений обоих корреспондентов. Наступила заминка сначала и разрыв — потом. Из свидания ничего не вышло. Шатобриан произвел не то впечатление, на какое рассчитывал. Он допустил даже что-то, замкнувшее от него царя. Повидимому, он переиграл в «крюденеровщину» — и приоткрыл настоящую свою природу. Мы можем догадываться об этом по нескольким строкам изложения Эйнара: «С тактом, который был ему свойственен, император очень быстро понял, что доказательства уважения и почитания со стороны г. Шатобриана были, в сущности, лишь красивой тирадой в красивой роли, разыгрываемой этим благородным актером: его чувствительность была оскорблена, и он замкнулся в достоинство своего ранга...»<sup>154</sup>. Сам Шатобриан

подтвердил свое поражение и полным умолчанием в «M. d'O. T.» о демаршах и встрече с царем, и теми строками, изумительными даже под его пером, которые он дал в «Веронском конгрессе», где миновать этой истории 1815 г. он не мог. Он краток, как всегда в трудных случаях: «Российского императора заставили быть настороже в отношении нас: ему сказали, что ежели он увидит нас, то мы окажем на него очарование, которому для него трудно будет противостоять. Мы были ему представлены в Париже; он считал нас тогда ультра[роялистом]; а так как он был либералом, мы могли интересовать его лишь в религиозном отношении. Мы увидели его вновь в Вероне: он стал ультра; а так как мы оставались либералом, та же затруднительность отношений возникла в обратном смысле. На конгрессе он был с нами вежлив, но сдержан... Александр был несколько глуховат, мы же не любили говорить громким голосом, а наше равнодушие к царственным особам было так велико, что мы даже не подозревали о холодности человека, взгляда которого искал весь свет...»<sup>155</sup>. Это не нуждается в разборе; это само себя убивает; но эйнаровское объяснение обогащается тут более важным элементом: Шатобриан, видимо, пересоллил не только в использовании божественных терминов в стиле Крюденер, но и в доказательствах своего легитимистского рвения и нетерпимости. Он не понял политики Александра: тот ставил ставку на умеренность и на широкую общественную базу для реставрации. Шатобриан оказался и тут ему ненужен, как Крюденер после этой неудачи была уже ненужна Шатобриану. Он, конечно, не помянул о ней в самозащитном отрывке «Веронского конгресса». Он сразу, в 1815 же году, вычеркнул ее из памяти. Она перестала для него существовать надолго, на много лет, до тех пор, пока старческая работа над «Mémoires d'Outre-Tombe» в конце 30-х годов, уже после ее смерти, не расшевелила опять в нем самолюбивых обид и не вызвала нескольких язвительных строк по адресу давней знакомой и бывлой покровительницы.

#### IV

Как раз тогда, когда Шатобриан оборвал свои связи с Крюденер, она вступила в наиболее оживленные отношения с двумя другими прославленными людьми того же круга, также мало помнившими о ней в промежуточные годы и также не преминувшими появиться в отеле Моншеню в эти дни ее торжества: Крюденер оказалась капитальной фигурой в знаменитом политико-романтическом эпизоде, разыгравшемся между г-жой Рекамье и Бенжаменом Констаном. Письма их обоих к ней составляют заключительную часть ее эпистолярного архива, остававшегося под спудом. Собственно, доля Рекамье в этой связке писем, как всегда, очень невелика: всего одна записка, весь же он принадлежит перу Констана.

Эта связка писем представляет собою одно из самых нужных звеньев, каких не хватало, чтобы эпизод, занимавший в течение ста лет стольких мемуаристов и биографов, мог, наконец, получить завершенность и выясненность. Известны письма Констана к Рекамье: даже в том виде, как они напечатаны, — с их, может быть, сокращенным, приглаженным текстом, — ясно, что это лишь парадный фасад или даже всего лишь декорация; известен констановский «Дневник» — зеркало его дум и дней, тоже, увы, полузавешенное потомками; известен случайно сохранившийся отрывок «канвы» (Carnet), заготовленный Констаном для задуманных мемуаров, — кратчайшие пометы, которые не всегда можно на-

полнить точным содержанием. Но нет писем Рекамье к Констану, которые были немногочисленны, но наиболее часты именно в занимающую нас пору<sup>156</sup>,—вероятно, когда их, наконец, извлекут из недоступного констановского архива, они окажутся краткими, лишенными живописности и подробностей деловыми записками или, вернее, отписками, какие обычны у Рекамье вообще, а по адресу Констанана в особенности. Не было



БЕНЖАМЕН КОНСТАН  
Гравюра Ф. Филиппото  
Исторический музей, Москва

до сих пор и всей переписки Констанана и Крюденер; теперь у ее частей разная судьба: крюденеровских писем всё еще нет, они прячутся в том же констановском архиве, о них мы знаем лишь по упоминаниям и ответам; но письма самого Констанана к Крюденер мы, наконец, публикуем ниже. При том состоянии источников, какое наличествует, они заполняют большой пробел. Их значение и место определяются тем, что это обращения одной из сторон к суперарбитру. Такова роль и таково положение Крюденер между Бенжаменом Констаном и г-жой Рекамье в 1815 г.

Все три лица знали друг друга давно. Бенжамена Констана Крюденер знала с женевской встречи 1796 г., но истекшее с тех пор двадцатилетие они провели совершенно безучастно друг к другу. С Жюльеттой Рекамье она познакомилась зимой 1801 г., когда приехала в Париж пристраивать в печать роман; она появилась тогда на приемах у Рекамье, но в общем, среди блистательных посетителей ее салона, была на втором плане. Это не изменилось и в пору недолгого шума, который ей удалось поднять вокруг «Валерии» спустя два года. Затем они тоже перестали существовать друг для друга на десятилетие.

Наоборот, Бенжамен Констан и г-жа Рекамье не прерывали общения издавна, с 1798 г., когда г-жа де Сталь сблизилась с Жюльеттой. Но они были настолько не заинтересованы друг другом, что г-жа де Сталь, всегда настороженная, с Константином сугубо, поручала Жюльетте в свое отсутствие надзор за Бенжаменом, в предупреждение его очередного отступничества,—так убеждена была она, по долголетнему опыту, что это вполне безопасно. Бенжамен Констан знал «тайну Жюльетты». Она оставляла его безучастным и вызвала скорее неприязнь. «Bizarre personne»—«нелепая особа»—единственная характеристика, которую Констан удостоил г-жу Рекамье в ранних частях своего «Дневника», в записях 1807 г.<sup>157</sup>.

Так прошло полтора десятилетия бескорыстного знакомства, когда вдруг в 1814 г. положение резко изменилось. Констан полюбил г-жу Рекамье. Ему было сорок семь лет, ей уже тридцать семь. Это был не рядовой случай, но для автора «Адольфа» он был типичен. Его сердечная жизнь была всегда беспорядочна, его пристрастия к увядающей красоте—исконны, его переходы от равнодушия к увлечению—общеизвестны.

Он и сам хорошо знал себя. Автобиографизма в «Адольфе» не меньше, чем в «Дневнике»; они равно откровенны. «Мое сердце устает от всего, чем обладает, и жалеет обо всем, чего лишено»,—занесено в «Дневник» 1812 г.<sup>158</sup>, словно бы прямым эпиграфом к истории с Жюльеттой; а «Адольф», прикрывший заглавным псевдонимом самого автора и соединивший в Элеоноре всех его женщин, от Шаррьер до Рекамье (как раз в 1814—1815 гг. роману давалась завершающая редакция), в первых же главах собирает в формулы теорию и практику констановских сердечных метаний. Они могли давать всё что угодно, кроме устойчивых и простых отношений. Их и не было. «Quelle vie inarrangeable!»—«Какая неустраиваемая жизнь!»—заканчиваются записи «Дневника» 1812 г.<sup>159</sup>.

Поздняя вспышка тяготения к Рекамье, таким образом, шла в констановских нормах. Но она оставалась бы лишь занимательной главкой в личной биографии обоих героев, не будь на ней отпечатка, связанного с политическими событиями времени. Она была малым следствием больших столкновений 1814 г.; от них к ней шла прямая нить, и эту нить держала рука Жюльетты Рекамье. Вспышку Констана вызвала она,—и вызвала нарочито; она использовала ее обдуманно, ради политической задачи, которую выполняла. Она попрежнему не питала к нему никакой склонности, но играла подвижностью его сердечной впечатлительности. Силу своего очарования она ставила на службу делу, которое делала. Это трудно вяжется с романтическим, унаследованным представлением о г-же Рекамье. С портретов Давида и Жерара, со страниц Шатобриана и даже Сент-Бёва на нас смотрит «чистойшей прелести чистойший образец», один из обаятельнейших женских обликов истории. Даже ее позд-

нейшие биографы, от Сент-Бёва до Эррио, оставались, в сущности, такими же *cavalieri serventi*, как Люсьен Бонапарт и Бернадот, Моро и Жюно, Веллингтон и Август Прусский, Монморанси и Балланш, Жордан и Проспер Барант, Жан-Жак Ампер и Шатобриан.

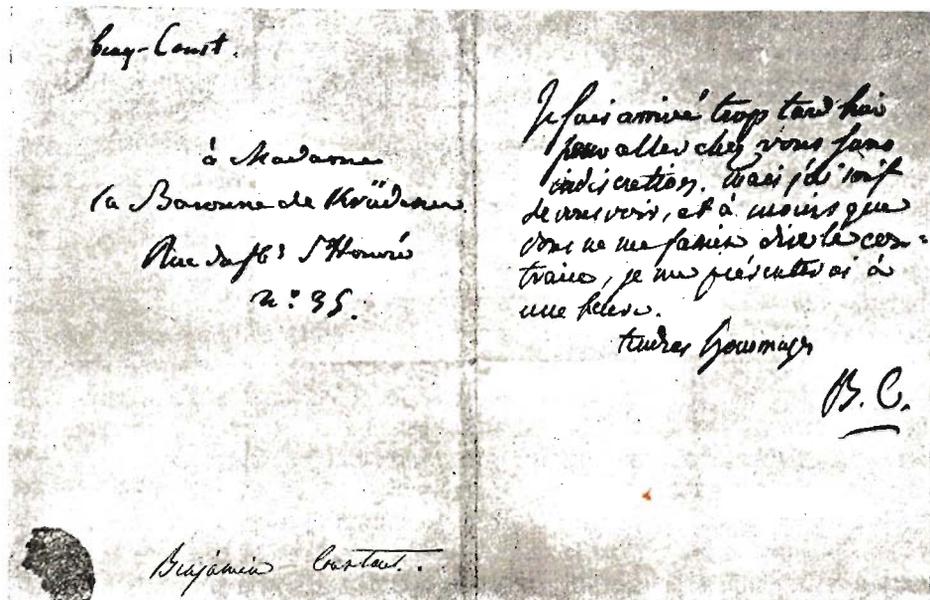
Это великое очарование в ней было, оно неоспоримо,—было бы безвкусно и неправильно отрицать его. Но было не только это. Эффектному, тщательно заготовленному для нее афоризму: «... Как рассказать жизнь женщины? Она обвеваает, мелькает, появляется!..»—Сент-Бёв должен был бы искать, по правде, более соответственного применения. Подлинная Рекамье была иной: для непредвзятого глаза документы и мемуары, происшествия и поступки очерчивают фигуру, сохраняющую и прелесть красоты и силу влияния, но не схимницу, отрешенную от мирской суеты, а постоянную, настойчивую, неутомимую участницу повседневных дел. У нее была тихая поступь, но она сама шла и вела других к очень житейским целям; у нее были обычно опущенные глаза, но она замечала все знаки преклонения и тщательно коллекционировала их; у нее был детский, кроткий облик, но она не бледнела и не менялась в лице, когда перед ней обсуждались заговоры и замышлялись перевороты. Она была ловцом людей, человеком политики и интриг, роялисткой и подпольщицей. Ее кокетство было предметом религиозных страхов благочестивых друзей и возмущения обманутых воздыхателей; набожность Балланша и Монморанси вечно трепетала за спасение ее души и ничем никогда не была утешена; а Август Прусский и Б. Констан не знают другого определения для ее игры с ними, как «лживость», «вероломство»; принц Август писал о ней г-же де Сталь: «Подобное поведение считается во Франции, может быть, кокетством, мне же оно представляется верхом вероломства...»<sup>160</sup>; «Я нашел в ней чудо кокетства, вероломства, лживости, притворства и жеманства»,—записывает в «Дневник» Констан<sup>161</sup>. Ее тщеславие питалось всем, что приносил случай; она коллекционировала стихи и вирши, которые ей посвящались,—и они сохранились в ее архиве; она собирала отзывы о себе в печати,—и верные друзья собственноручно переписали для нее целый сборник; она собирала письма поклонников и не возвращала их и тогда, когда люди, с которыми она порывала, настаивали на возврате,—так поплатился Люсьен Бонапарт, и даже его специальный поверенный не мог справиться с упрямницей; она побуждала писателей сочинять ее литературные портреты и сама редактировала их, когда Балланш, Констан, Шатобриан выполняли поручение; она изменяла бюсты и картины, которые заказывала с себя художникам; если знаменитый портрет Давида остался неоконченным, это—дело ее недовольства; если Канова переделал ее бюст в изображение Беатриче, это—итог ее неудовлетворенности; если Шинар должен был испортить свою композицию, это—результат ее требований, и т. п.<sup>162</sup>. Ее связь с политикой была отнюдь не «дамской» и не мимоходной: Наполеон недаром закрыл в 1803 г. ее салон, в 1809-м заявил, что будет считать личным врагом всякого иностранца, ее посещающего, а в 1811-м отправил ее в ссылку; салон Рекамье был не только филиалом салона де Сталь<sup>163</sup>; они были в общей оппозиции, но у каждой была своя гвардия и своя линия: либерализм г-жи де Сталь объединялся с роялизмом г-жи Рекамье в сопротивлении наполеоновской внутренней и внешней политике. Тишина ее салона прикрывала такие дела, как переговоры Бернадота и Моро о перевороте и устранении Бонапарта,—и Жюльетта

отнюдь не оставляла в это время обоих генералов с глазу на глаз; ее демонстративное присутствие на процессе Моро вызвало окрик первого консула; если ее терпели дольше, чем г-жу де Сталь, то потому, что она все же была не Сталь, у нее не было ни этого таланта, ни этого дальнего действия, и ее друзья, такие, как Люсьен Бонапарт, Фуше и Жюно, могли до поры до времени рядить ее перед Бонапартом в личину существа, плохо понимающего, что творит.

Когда события 1814 г. позволили ей вернуться из трехлетней ссылки, она была для Парижа не только светской очаровательницей, но и законченной политической фигурой; ее открывшийся вновь салон стал не просто местом встреч знати, но и одним из влиятельнейших роялистских центров. Именно в это время понадобился ей Бенжамен Констан, и она сочла нужным для успеха политической затеи пустить в ход свое личное обаяние. Дело было связано с подготовкой Венского конгресса. Оно касалось неаполитанской короны Мюрата. Рекамье вернулась в Париж прямо из Неаполя, где гостила у королевской четы. Они благоволили к ней давно, а в 1814 г. в особенности. На нее были виды. Каролина Бонапарт, супруга Иоахима, в сущности, правила королевством вместо мужа. Она в миниатюре осуществляла то, о чем мечтал Сийес в годы Директории: «голова и сабля». В Неаполе головой была она, Мюрат был саблей. В январе 1814 г. она заставила его подписать договор с Меттернихом о присоединении к антинаполеоновской коалиции<sup>164</sup>. Дипломатическая возня вокруг приближающегося Венского конгресса принесла тревоги. Несмотря на коалиционный договор, не было уверенности, что Мюратов не заменят Бурбонами. Изгнанный Фердинанд IV был не таков, чтобы не апеллировать к союзу наследственных монархов против монарха наполеоновской милостью. Он купил закулисную помощь Талейрана; размер договоренной суммы, в шесть миллионов франков, говорит нам, что князю Беневентскому стоило тщательно и заблаговременно подготовить осуществление плана своего клиента<sup>165</sup>. Не исключено, скорее—вероятно, что сведения об этих приготовлениях уже просачивались к мюратовской агентуре; надо было спешить с контрмерами. Каролина поручила Рекамье подыскать в Париже талантливое политическое перо для меморандума, обосновывающего мюратовские права на корону. Дополнительная трудность состояла в том, что автор должен был остаться анонимным; это значило согласиться быть просто наймитом. Рекамье остановила выбор на Констане. Его публицистический талант и политическая изощренность были первоклассны. Надо было лишь заставить его взяться за это дело. Правда, его честолюбие было крайне не удовлетворено: «Достигнуть почетной карьеры, или же полный покой, или смерть»,—формулировал он свои настроения в «Дневнике» истекшего 1813 г.<sup>166</sup> Он давно уже пытался пристроиться к владыкам дня; он льнул к Бернадоту, когда были шансы на бернадотово регентство во Франции<sup>167</sup>; он тянулся через Лагарпа к Александру, был представлен, был обласкан, ждал ордена<sup>168</sup>; но кончалось все это неудачами, и он искал новых способов подняться. Однако, мюратовское дело было мало заманчиво—анонимная, закулисная работа, во-первых, и второстепенного значения, во-вторых. Даже приняв заказ, Бенжамен Констан, несмотря на все повиновение, к какому его привела Рекамье, требовал в качестве компенсации официального поручения защищать Мюрата публично на самом конгрессе и не прельстился ни предложенными деньгами, ни сулимым орденом, ни негласной поездкой

в Вену: Рекамье вынуждена была довести до сведения Каролины о встретившихся затруднениях, и королеве пришлось разъяснить причины, обязывающие к тайне<sup>169</sup>.

Рекамье решила выполнить задачу иным способом. В «канве» для меуаров Констан помечает: «Г-жа Рекамье задумывает влюбить меня в себя. Мне сорок семь лет. Свидание, которое она мне назначает в связи с одним делом, касающимся Мюратов, 31 августа. Ее манера вести себя в этот вечер: «Дерзайте!»—говорит она мне. Я уйду от нее сумасшедше влюбленным. Вся жизнь вверх дном»<sup>170</sup>. Записи «Дневника» свидетельствуют, что Констан знал, что его ждет и с кем имеет дело: «Провел вечер у г-жи Рекамье, и эта женщина, которую я знаю еще со Швейцарии, которую я видел в разных условиях и при всевоз-



АВТОГРАФ ПИСЬМА БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА К Ю. КРЮДЕНЕР ОТ КОНЦА СЕНТЯБРЯ—НАЧАЛА ОКТАБРЯ 1815 г.

Всеукраинский исторический музей, Киев

можных обстоятельствах, которая никогда не производила на меня никакого впечатления, вдруг овладевает мной и вызывает у меня неистовое чувство. Сумасшедший я или дурак? Впрочем, надеюсь, что это пройдет...»; «... увы, это не проходит; ужасная лихорадка страсти, слишком хорошо ведомая мне, затопила меня и полностью владеет мной; труд, политика, литература—все кончено; царство Жюльетты начинается...»; «...чтобы бросить меня в эту муку сердца и ума, которой я не в силах противостоять, понадобилось малозначачее с виду обстоятельство: услуга по части совета и редакции, которую Мюраты попросили у меня через Жюльетту (она связана с ними); и вот ее желание успеть в этом, и обольщение, которое она сочла нужным пустить в ход, доверительные беседы, которые отсюда возникли, вскружили мне голову. Я это чувствую! А между тем, я знаю, какой опасности подвергаюсь, ибо имею дело с откровенной кокеткой; но прелесть трудной победы увлекает меня...»<sup>171</sup>.

Превосходная ясность понимания и оценки положения, но, как всегда у Констана,—бесполезная: «Сентябрь [1814]. Я терзаю себе жизнь неопи-суемым возбуждением, в какое повергает меня эта женщина...»<sup>172</sup>. Начинается игра политической интриганки с потерявшим голову публици-стом; пока мюратовское поручение не выполнено, она удерживает его неясными посулами, никогда не выполняемыми; когда он силится отор-ваться и уйти, она подогревает в нем надежды; она увозит его с собой за город, чтобы заставить работать над меморандумом; она запрещает себя видеть, когда он полагает, что получил на то права; она назначает ему свидания и не является; когда он хочет бежать из Парижа, она пишет ему, «чтобы пожаловаться на его намерение уехать»; когда он говорит, что она его не любит, она отвечает: «Значит, вы больше знаете, чем я сама»<sup>173</sup>. Никого из своих воздыхателей она не мучила так, как мучила Констана: «... мне никогда раньше не приходилось иметь дело с кокеткой: что за бич!!!»; «... это самое лживое, самое себялюбивое, са-мое распушенное создание, какое когда-либо существовало; каким я был безумцем!...»; «... нет, больше не могу! Она заставила меня провести дя-вольский день, это какая-то коноплянка, облако, без памяти, без разбор-чивости, без предпочтения, она никогда не остается назавтра такой, какой ее оставишь вчера...»; «...надо набраться сил и бежать!...»<sup>174</sup>.

Пустые слова,—он, конечно, остается, изнемогает, плачет по ночам, опять бодрится, провидит какие-то шансы, снова отчаивается. Он боится теперь, когда мюратовский заказ выполнен, что потеряет поводы видеть свою мучительницу,—он уже в восторге от всякого ее поручения: «Вы же знаете прекрасно, что вся моя жизнь в вашем распоряжении, как и та крупица разума, которая во мне есть... Вы соблаговолили заверить меня, что чувствуете ко мне известную дружественность, вы соблаговолили дать мне поручение... Я напишу то, что вы сочли за благо пожелать...»<sup>175</sup>. И он садился и писал то, что ей было нужно, собирал все силы таланта, чтобы угодить, делал вещи блестяще-невинные, как ее жизнеописание, точно бы расшитое тонким жемчугом<sup>176</sup>, и вещи блестяще-чудовищные, как знаменитая его статья в начале «Ста дней», 19 марта 1815 г., в «Journal des Débats», когда он послушно выполнил новый политический заказ Рекамье и, в угоду ее роялизму («Я очертя голову кидаясь на сторону Бурбонов—г-жа Рекамье толкает меня на это»,—значится в «Carnet»<sup>177</sup>), писал: «На стороне короля—конституционная свобода, спо-койствие, мир; на стороне Бонапарта—рабство, анархия, война. Кто мог бы колебаться?.. Я увидел, что свобода возможна при монархии; я увидел, что король соединил себя с нацией. Я не пойду, презренный перебежчик, таскаться от одной власти к другой, прикрывать подлость софизмом и лепетать обесчещенные слова, чтобы купить постыдную жизнь...»<sup>178</sup>.

Конечно, все это стоило немногого, и поведение Констана в эпоху «Ста дней» показало обычную цену его легитимизму: достаточно было Напо-леону помянуть его, чтобы Констан поспешил принять пост император-ского советника, сел составлять новую конституцию—Acte additionnel—и в радости высокого ранга и высокого поручения умиротворил на время даже свои сердечные невзгоды: «Я видел Жюльетту, но государственный советник должен воздерживаться от игры и от любви»,—пишет Констан в апрельском «Дневнике» 1815 г.; в эти сто дней он горд, он занят, он подтянут,—его письма к Рекамье меняют и тон, и размеры: они немного-

словны и деловиты. Но вот, пробегая по этим бодрым страницам, мы вдруг ощущаем толчок, и опять появляются знакомые интонации и слова: «Я провел ужасные часы, и одно слово от вас утешило бы меня..: Я думал, что не переживу этой ночи... Придет день, и вы почувствуете зло, которое делаете, и будете сами недовольны им...»; «...Вы думали, что это преходящее влечение, но оно определило всю мою жизнь, оно ежесекундно пожирало меня, ...оно вовлекло меня во всё, что я сделал...»<sup>179</sup>. Можно сразу сказать, что «Сто дней» кончились, отгремело Ватерлоо, — опять наступило «царство Жюльетты», осложненное еще тем, что к мукам любви присоединился страх расплаты за перебежку к Наполеону. Надо бежать или суметь примирить с собою роялистов, возвращенных в Париж штыками коалиции. Он сообщает Рекамье: «„Quotidien“ требует моего наказания на Гревской площади вместе с Лабедуайером. До этого не дойдет...»; «В случае, если это окажется нужным, нет ли у вас на примете какого-нибудь угла в Париже, где, по вашей рекомендации, я мог бы провести ночь?»; «...Я надеюсь, что все толки на мой счет утихнут, ибо вы видите по письму, которое я вам посылаю, что я примирился с правительством, и мне думается, что ваши друзья не должны оказаться строже...»<sup>180</sup>. За себя, таким образом, он мог уже не бояться. Но положение его было тягостным и лично, и общественно.

Именно в эту пору нового краха политической карьеры Бенжамен Констан появляется у Крюденер. Несмотря на давнее знакомство и даже эпизод 1796 г., он не осмелился просто возобновить отношения. Показать в салоне предместья Сент-Оноре — значило вступить в царскую приемную, а константиновское поведение в эпоху «Ста дней» было не только изменой Бурбонам, которым он только-что громкогласно клялся в верности, но и изменой Александру I, которому он всего несколько месяцев назад представлялся, подносил трактаты и предлагал услуги. Он был двойным перебежчиком. Правда, людей в его положении было достаточно; шла своего рода взаимная амнистия в светском обществе; в начавшемся белом терроре и в правительственных репрессиях расплата за измену демонстрировалась преимущественно на военных примерах — расстрелами маршала Нея, генералов Лабедуайера и братьев Фоше, процессами Лавалетта, Друэ, Камбронна и т. п. Поведение Констан было прощено, но это не значило, что оно было забыто. Много дверей для него закрылось совсем, кое-какие открывались с трудом. И уж, конечно, он не мог появиться по собственной прихоти в отеле Моншеню, где теперь сосредоточивалось самое высокое и влиятельное общество. Чтобы решиться на это, нужно было наперед удостовериться в том, что не случится афронта. Ему помогла г-жа Рекамье. Ее роялистская репутация была вне сомнений. В «Дневнике» Констан записывает, как тягостен ему был остракизм и как пришла на помощь Рекамье: «Я измотан и уничтожен людьми. Я отправляюсь к г-же Рекамье, которая выказывает себя хорошим другом. Злость общества против меня претит ей»<sup>181</sup>. Она берется за дело и успевает. Констан возвращается в свет. Именно она вводит его в наиболее важный салон этих месяцев — к Крюденер. Сама она занимает там почетное место. Крюденер, осуществляя поставленную ей Александром общественно-политическую задачу собрать виднейших представителей французского общества, должна была подумать о Рекамье сразу же. Она обратилась к ней с приглашением, — Рекамье охотно ото-

звалась. Об этом пишет ее племянница, Ленорман, в воспоминаниях: «Баронесса Крюденер, молодость которой была очень романтична, но которая в эту пору была уже одержима мистицизмом, столь же пламенным, сколь и искренним, была и раньше знакома с г-жой Рекамье; она пожелала увидеться с ней в 1815 г.,—эта последняя с не меньшим любопытством поспешила удовлетворить это желание...». Впечатление, которое Крюденер произвела на Рекамье, передано так: «Она была уже немолода, но сохранила свою элегантность. Изящество, с каким она держалась, спасало ее от того смешного, что могла бы ей принести ее роль „осененной свыше“»<sup>182</sup>. Рекамье занялась с Крюденер делом Констана. Она подготовила почву и получила выражение желания видеть старого знакомого. О таком именно ходе дела свидетельствует первая записка Констана, сохранившаяся в крюденеровском архиве. Она послана в предварение визита.

(1)

[Париж, август 1815 г.]<sup>183</sup>

Г-н Б. де Констан имеет честь явиться к г-же де Крюденер не только потому, что он имел честь встречаться с ней когда-то, но и потому, что г-жа Рекамье ему сообщила, что г-жа де Крюденер разрешила ему засвидетельствовать ей свое почтение.

Официальный тон записки характерен для обстоятельств, при которых Констан входил в крюденеровский салон; вместе с тем, двойная ссылка не только на Рекамье, но и на личные давние связи дает понять, что Констан надеется быть не просто принятым в качестве визитера, но и встретить дружественность, на какую может рассчитывать старинный знакомый. Он не ошибся. Следующая же записка показывает далекое продвижение вперед. Она еще вполне официальна; ее внешний повод—лишь выполнение пожелания Крюденер, связанного с делами политическими, с орлеанской речью Шатобриана к избирателям, которая была новинкой дня; но этой непосредственной темой Констан не занимается,—он уклоняется от суждения; его занимают собственные дела,—записка направляет именно к ним внимание Крюденер.

(2)

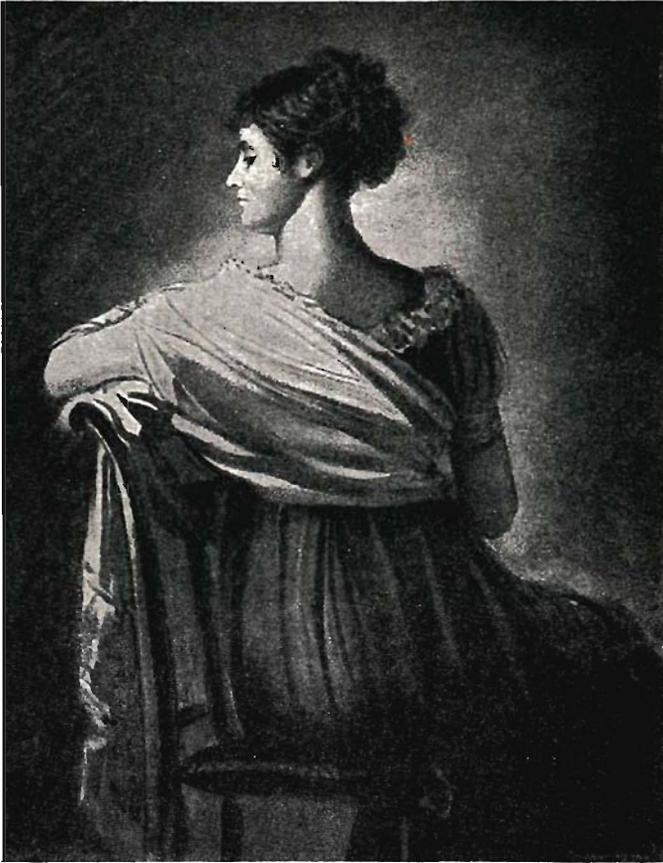
[Париж, конец августа 1815 г.]<sup>184</sup>

Вот, сударыня, речь г. де Шатобриана, о которой я говорил вам нынче утром. Я не высказываю своего суждения, но представляю эту речь на ваш суд, как хотел бы представить на ваш суд всю мою жизнь. Вы благостно влияете на мою душу; зачем же понадобилось, чтобы вы уезжали завтра! До вечера! Вы дадите, конечно, мне силы дожидаться вашего возвращения. Благодарю вас за то, что вы занялись мной. Благодарю за то, что вы соблаговолили немного полюбить меня.

Б. К.

Представить чужую речь на суд Крюденер, как он хотел бы представить на ее суд собственную жизнь,—эти слова говорят нам, что возобновление отношений приняло уже дружески-откровенное направление. Уже существует некоторая исповедальность, в которой Констан является страждущей, а Крюденер—вспомогающей стороной. Он прибегает к ее утешениям так часто, что видится с ней дважды в день, утром и ве-

чером, а в середке, не дожидаясь вечерней встречи, еще торопится поговорить с ней письменно. Бесед о «третьем лице» между ними еще нет. Может быть, и даже вероятно, оно подразумевается; но к нему еще не прикасаются. Таковы взаимоотношения в конце августа 1815 г., как надо датировать записку, поскольку речь Шатобриана была произнесена 22-го числа. Решающий этап отражен в следующих двух письмах. Они являются уже прямой исповедью. Мы видим, что Констан обсуждал с Крюденер сокровеннейшее дело—свою сердечную трагедию. Он



Г-ЖА РЕКАМЬЕ

Гравюра 1858 г. с рисунка Жерара 1829 г.

еще блюдет остатки официальности, говорит кое о чем обиняками, но адресатке давно всё ясно. Письма идут вдогонку за устными беседами, в которых они исподволь подходили к главной теме, интересовавшей Констан. Констан колебался, как всегда. Не он ли писал в «Адольфе», что любовь не терпит посредничества: «...О, кто бы вы ни были, никогда не доверяйте друзьям интересы вашего сердца; лишь оно само может защищать свои дела... всякий посредник становится судьей...»<sup>185</sup>. Крюденер облегчала ему задачу. Она выказывала такую степень участия, такую готовность помочь, что Констан все торопливее стал переходить границы доверительности.

(3)

[Париж, август 1815 г.]<sup>186</sup>

Я надеялся, сударыня, предстать перед вами в четыре часа, но причудливая, горестная, необъяснимая судьба моя противодействует этому. Вы сочли, что видели меня вчера в несчастном состоянии; однако, это был один из безмятежнейших дней, какие выпали мне за год. Сегодня железный брус, проходящий сквозь грудь мою, опять в ней, и каждая мысль причиняет нравственную боль, а каждое движение—физическое страдание. Эти муки, которые я сравнивал перед вами с теми, что именуются вечными,—они ныне здесь, в моем сердце. Я обретаю покой лишь в неподвижности. Даже сейчас, когда я пишу к вам, каждое усилие, которое я делаю, чтобы начертать фразу, возобновляет агонию, стихающую лишь медленно. Вы сказали, что у меня есть право на чудеса с вашей стороны; не приведи бог, чтобы я потребовал их, чтобы я стал пытаться небесное милосердие. Но ежели вы можете творить чудеса,—сделайте их, дабы спасти меня; время не терпит.

Состояние души моей отнюдь не беспричинно; но рассказывать вам о том, какова причина, было бы долго и бесполезно, и объяснять ее я вам не стану... Я слышу честолюбцем, задающимся той или иной целью, жаждущим власти или литературной славы,—или чего еще?—движимый, как остальные люди, надеждой, расчетом, побуждениями того же рода, каким движется жизнь людская. А я совсем иной! Я представляю собой существо, испепеленное вот уже год,—существо, которому в душу вонзили кинжал и которое отбивается, жестикулирует, поднимается и вновь падает, но не избавляется от этого лезвия, вошедшего в него.

Вот уже год, как я ничего не понимаю в том, что делаю. Я сломал, кусок за куском, здание своей жизни. Я вызывал своей явной непоследовательностью изумление в тех, которые меня видели. Я приобщался ко всему, что, казалось, предвещало грозу. Я пренебрегал опасностями, бурями, всяким другим страданием, кроме того, которое неизбывностью своей стало для меня непереносимым. Все было напрасно. Я вижу всё, сузу обо всем, но чувствую лишь железный брус, вошедший мне в сердце.

Не думайте, судя по этому выражению, что речь идет о любви. Речь идет о страстной дружбе, которая была растоптана ногами, о преданности, о доверии, о потребности симпатии, которую вызвали, чтобы вновь отбросить ее мне в сердце, и которая давит его.

Не требуйте, чтобы я явился к вам. Неподвижность одна лишь облегчает мое страдание, но если к вашему голосу прислушиваются, поднимите его в мою защиту. Не выдавайте этой тайны,—отдаю ее вашей совести и гляжу на свое доверие, как на нечто, связующее вас священной клятвой. Эта тайна никому не известна, и она покажется во мне лишь нелепой причудой. Она известна лишь одному существу, которое является одновременно и ее объектом, и ее обладателем и которое, зная, что голос его даст мне успокоение, что советы его приносят мне облегчение, не считает все же, что моя жизнь стоит какого-нибудь получаса в день.

Это, думается мне,—возмездие. И я тоже топтал ногами привязанность; я тоже глядел без жалости, как льются горькие слезы.

Простите, если я не прихожу обрести то сокровище доброты, которое вы предложили мне. Голос ваш сладостен и могуществен, но ничто не действует на меня, кроме одной вещи,—знаю это вот уже год,—и я лишь утомил бы вас бесполезными попытками.

Прощайте, сударыня! Продолжайте же распространять вокруг себя спокойствие и счастье и верьте, что вам отданы все пожелания, какие у меня еще есть силы произнести.

Самое изумительное—это упоминание о крюденеровском обещании чуда. Она готова сотворить его над Констаном. Письмо приподымает завесу над тем, что привело Крюденер в движение. Ей нужна была не столько констановская исповедь,—она знала, как все кругом, чем он болен,—ей нужна была его готовность к исцелению. Она выступала в излюбленной роли спасительницы души человеческой. Среди хлопот с царем земным и царем небесным, между ежедневной сумятицей мирской политики и ежевечерними священнодействиями молебственных бедний, Крюденер недаром нашла время для выполнения обязанностей сердечного арбитража. Она усмотрела в нем поле для общественно-весомого

J'aurais le bonheur de vous voir demain  
 puisque vous le permettez, j'ai bien besoin  
 de vous, de vous être si bonne; —  
 Je vous envoie les lettres de votre ami  
 avec mes hommages

АВТОГРАФ ЗАПИСКИ Г-ЖИ РЕКАМЬЕ К Ю. КРЮДЕНЕР, СЕНТЯБРЬ 1815 г.

Публичная библиотека, Ленинград

акта. Ее салон еще был скорее предметом любопытства, чем центром влияния. Высший свет появлялся поглядеть на молебствия у ней, как уличные зеваки ходили глазеть на прусские посты у парижских дворцов. Крюденеровские мистические радения были для парижан одной из деталей «азиатчины», сопутствовавшей Александру. Те живые доказательства своих небесных полномочий, которые Крюденер возила с собой в виде новообращенного Беркгейма, были не слишком убедительны и импозантны, ибо неопит был ее зятем, во-первых, и всего только немецким провинциальным полицейским чиновником, во-вторых<sup>187</sup>. Но всё становилось на должное место, если бы в самом Париже совершилось чудо «обращения» какого-нибудь знаменитого имени. В этом отношении случай Констан—Рекамье, и по участникам и по обстоятельствам, представлял находку. Если с Рекамье дело было ненадежно, то относительно Констан сомнений не было. Она быстро разобралась в нем. Он жаждал утешения вообще. Он жаждал помощи против Рекамье, а новые возможности, открываемые крюденеровским вмешательством, стоили внимания: мюратовские tête-à-tête не помогли, бурбонофильские статьи не помогли, льстивые биографии не помогли, но эффекты воздействия мистики еще не были испробованы. Констан знал, что такое религиозная экзальтация;

он изучал ее, когда писал свой труд о «Религии, ее источнике, формах и развитии». Он тогда восторгался трезвостью Гердера и называл «абсурдной» книжку Шатобриана<sup>188</sup>. Он и теперь не терял своей трезвости, но охотно расставался с ней: заметки его «Дневника» показывают, что привычный скептицизм мысли не мешал иллюзиям действия. Он был, говоря пушкинскими словами, «к противочувствиям привычен». В октябре 1815 г., в разгар дружбы с пророчицей, Констан заносит в свой «Дневник»: «Вечер у госпожи Крюденер; есть несомненно хорошие вещи в их верованиях и в их идеях, но они заходят слишком далеко со своими чудесами и описаниями рая, о котором они говорят, точно о собственной комнате»<sup>189</sup>. Это не мешало ему готовно идти на крюденеровские знаменья и помогать ей. Мы не говорим, что Констан притворялся перед Крюденер,—мы говорим, что он самоопьянялся. Обман смешивался у него с самообманом. Это было его привычкой. Именно так разыгрался перед Крюденер его нервический припадок, о котором говорится в очередном письме: «...страдания, которые становятся почти физическими и достигают тех пределов, какие вы видели вчера». Припадок произошел в доме Крюденер вечером, а наутро ей было отправлено следующее письмо:

(4)

[Париж, август 1815 г.]<sup>190</sup>

Я воспользуюсь, конечно, сударыня, вашим разрешением или, вернее, вашим предложением, столь исполненным доброты. Но будьте снисходительны, если предварительно всё же человек, отлично себя знающий,—ибо слишком хорошо, себе на горе, он изучил себя,—дерзает ставить вам некоторым образом свои условия. Я сознаю, что это безрассудство, почти бунт, но все же это не бунт. Несмотря на вашу просвещенность, чье превосходство лучше всего объясняется ее источником, вы, может быть, пожелаете применить в отношении меня лекарства, которые,—я это знаю по долгому и печальному опыту,—причинят мне в тысячу раз больше вреда, чем пользы.

Вот почему, столь охотно приемля вас в руководители, я обращаюсь к вам с тремя просьбами, которые не смогут повредить ничему тому, что вам было бы угодно пожелать для меня. Во-первых, не спрашивать у меня ее имени. Это перестало бы тогда быть моей тайной, и хотя я не могу открыть ничего такого, чего не мог бы заявить перед целым светом, я всё же не имею права называть, говоря о себе, имя особы, которая ни в какой мере не ответственна ни за мои чувства, ни за мои страдания. Далее, умоляю вас, в случае, ежели бы вы почему-либо отгадали его, никогда не говорить об этом той, которая его носит. В сущности, я не имею никакого права жаловаться. То, что обычно называют дружбой, я получил наравне с тысячами других; повергает же меня в то отчаянное состояние, какое я вам описал, особая настороженность, потребность в симпатии, страстная привязанность, которую я зачастую даже не показываю лицу, являющемуся ее предметом, и которая при малейшем кажущемся мне проявлении невнимания или небрежения внезапно причиняет муку сердцу, растет от разлуки и превращается в ту острую боль, какую я не в силах вынести. Ибо, собственно, доброту, благородство, участие к себе, всё то, что характеризует великодушного и даже чувствительного друга в обыденном смысле слова,—всё это я нахожу у нее в те минуты, когда я способен сам воспринять это. Наконец, не пробуйте, из тех соображений,

что вылечить меня может полная разлука, каким-либо образом способствовать ей. Я сам испробовал это. Это не достигает цели. Получасовая беседа о самых безразличных предметах успокаивает и умиротворяет меня. А вот когда дни проходят так, что этих бесед не бывает, мои страдания беспричинно возвращаются, становятся почти физическими и, наконец, достигают тех пределов, какие вы видели вчера. Таким образом, то, что представляется лекарством, усиливает, наоборот, мои страдания и даже вызывает их. Если бы я мог ежедневно проводить час возле лица, о котором идет речь, как брат подле сестры, чувствую, что стал бы лучше и счастливее; я часто спрашиваю себя, откуда у меня подобное влечение, какого я не испытывал ни разу ни к одной женщине и над которым сам бы посмеялся, подметив его в другом. Такое необычное чувство, не является ли оно скорее сродством душ, готовым установиться для счастья нас обоих?

Вот, сударыня, то, о чем я осмеливаюсь просить. Вы—ангел света и доброты. Вы не оттолкнете сердца, которое взывает к вам. Вы не поставите в вину больному то, что он на основе длительного опыта рассказывает вам о своей болезни.

Благословляю, люблю, благодарю вас—я непременно повидая вас сегодня.

Б. К.

Письмо длинно, наспех написано, как все интимные письма Констан,— это совершенная противоположность сжатости и блеску его статей, памфлетов, брошюр, любому сочинению, которое он возводил в ранг литературы. Здесь ему не до нее, в этих письмах он как есть—растрепанный, обыденный, домашний. Крупица светских условностей: «сударыня», «осмеливаюсь просить», «преисполнены доброты» и пр., тонет в потоке длинных, хаотических фраз с признаниями, жалобами, противоречиями. Констан словно бы ставит условия Крюденер, но под сурдинку признает, что это только «притворство влюбленного» и эти запреты будут нарушены и им и ею; в частности, он просит не спрашивать об имени любимой им женщины, когда уверен, что Крюденер его знает; он просит не говорить о нем с предметом любви, когда вся затея построена на крюденеровском вмешательстве. Так, конечно, оно и было. Констан «еще поморщился немного», и «третье лицо» было названо.

Для этого оказалось достаточным всего двух бесед. Констан поверил в плодотворность посредничества Крюденер. Он приучается к ее богословскому жаргону. Он старается прижиться в крюденеровском доме. Едва уйдя, он уже просит нового свидания. Он, разом, и откровенничает с покровительницей и ужасается своему предательству. Он уже решается писать ей по нескольку раз в день. Его очередное письмо состоит из смеси лести и опасливости, настойчивости и оглядки.

(5)

[Париж, август 1815 г.]<sup>191</sup>

Какое облегчение вы принесли мне сегодня, сударыня, и какую потребность написать вам чувствую я! Как вы добры, как снисходительны и как могущественны в своих утешениях! Я уже не одинок в мире, и счастье обрести друга, поводыря, голос, нисходящий с неба, возвышает мне душу. Да, конечно, у меня не будет ничего скрытого от вас; неис-

черпаемая доброта ваша придаст мне мужество ввести вас во все подробности. Вас хватает на всё, как того бога, коего могущественной посланницей вы являетесь; все несчастья находят у вас и время, чтобы их выслушать, и силу, чтобы их утешить. Я уже скорблю от малейшего вашего отсутствия, я хотел бы повсюду сопровождать вас; я опять погружусь в одиночество, когда вы уедете. Когда мог бы я увидеть вас сегодня, так, чтобы возможно меньше помешать вам и занять ваше внимание столь недолго, как только смогу? Это то, что сейчас меня волнует, и с тех пор, как я вышел от вас, мысль эта меня не покидает. Впервые я занят не той мыслью, которую доверил вам, — и это отвлечение уже есть благо.

Знаю, что у вас назначен ряд встреч, и я хотел бы занять то время, какое окажется для вас наиболее удобным: за исключением промежутка между четырьмя и шестью часами, я свободен весь день.

Вы вернули мне способность, которую я утратил: совершать среди света как бы молитвенный акт, успокаивающий и отделяющий меня от этого мира, столь жадного и столь утомительного. Но я не нашел, всё же, в этих актах той полноты действительности, какую когда-то они оказывали на меня. Однако, это уже кое-что — обрести вновь воспоминание, исчезнувшее из моей головы вот уж много лет.

Среди встреч, которые у вас сегодня будут, есть одна — с особой, чья судьба меня живо занимает, которая испытывает к вам большое влечение, которой нужно нечто приносящее удовлетворение ее душе, утомленной светом, но которая, боюсь, не вполне вступит на серьезный путь, отдаваясь развлечением, властвующим над нею, и той полумечтательной беззаботности, ставшей для нее привычкою. Мне хотелось бы поговорить с вами о ней раньше свидания, которое она испросила у вас на час, ибо я беседовал с нею о впечатлении, какое вы на нее производите. Что бы ни было у вас потом, — не говорите ей, что я вам сказал об этом, умоляю вас!

Дай я себе волю, я стал бы писать вам всю ночь напролет. Душа моя переполнена вами; а ведь я виделся с вами лишь дважды. Как можете вы, выполняя столь великую миссию, уделять еще внимание отдельным людям? Но велико только чувство; количество, ранг, положение пред ним — ничто. Душа — всё, и одна смятенная душа стоит целого народа, так же как один верующий ценнее всех диковинок физической природы и как один молитвенный акт дороже всех красноречивых слов. Как хотелось бы мне, чтобы после того, как вы воскресили во мне чувство, вы дали бы мне еще убежденность во всем том, чего не хватает моей вере! Я ничего не отвергаю, — я уважаю всё; но я хотел бы соединиться с вами в делах, как соединился с вами в чувствах, — в том быстром и полном общении, какое наступает, когда душа обретает способность отречься от себя самой и кинуться покорно и безвольно в объятия той силы, из коей она вышла. Когда-то и я обладал в гораздо большей степени этой способностью. Я жил два года среди бурь, словно ребенок, не думая о путях своих, чувствуя, что есть кому руководить мной, сильный собственным неведением, чувствуя, что бог обязан, если смею так выразиться, обязан меня — существо, всецело себя отдающее, — наставлять и защищать от мира, а в особенности от меня самого. О, зачем взялся я за бесполезный руль неуверенной рукой!

Тяжело оно, то весло, которое человек хочет приподнять собственными силами, дабы направить его в океан жизни. Давит она на нас, наша собственная личность!

Когда же все-таки увижу я вас, сударыня? Я всё, увы, возвращаюсь к этому. Я не смогу просить вас об этом в течение нескольких дней, а спустя известное время—может быть уж никогда! Эта мысль преследует меня. В самом деле, вы сделали мне уже столько добра, вы дали мне неоценимое благо—возможность заниматься чем-то другим, нежели навязчивой мыслью, владеющей мной,—дайте же мне еще больше, владейте душой моей, сердцем моим, способностями моими...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТЪ  
КЪ РУССКОМУ ИНВАЛИДУ (10 Юля 1815 года.) No 18 ъ.

## ПАРИЖЪ СДАЛСЯ

Сей часъ полученъ изъ Берлина отъ 11 го с. м. вечеромъ, дополнительный листъ съ весьма приятнымъ извѣщеніемъ что, 3 го числа Юля заключена Княземъ *Блюхеромъ* и Герцогомъ *Веллингтономъ* съ Маршаломъ *Даву* капитуляція о златъ *Парижа*, которая и ратификована 4 го числа. При отправленіи курьера отъ Князя *Блюхера* изъ Главной его квартиры замка *Мёдона* отъ 4 го числа въ 6 часовъ вечера, въ свидѣніе сей капитуляціи, *Сентъ-Дени* и мостъ *Нелльскій* (*Neuilly*) были уже Союзникамъ сданы. Сдача Монмартра послѣдуетъ 5 го числа а 6 го Юля Прусская армія торжественно вступитъ въ *Парижъ*.

Поводомъ къ сей капитуляціи былъ переходъ Прусскихъ войскъ на лѣвый берегъ рѣки *Сены* при С. нъ. *Жерменъ* 1 го Юля. Фельдмаршалъ позволилъ остаткамъ Французской арміи, собравшимся подъ стѣнами *Парижа*, отступить свободно за рѣку *Доаръ*. Съ сими только войсками заключено перемиріе.—Главнокомандующіе Союзныхъ войскъ при сихъ переговорахъ руководствовались единственно видами военными.

~~~~~

Другія извѣстія полученныя съ симъ же курьеромъ увѣряють, что *Буонапарте* съ братьями своими ушелъ 29 го Юня изъ *Мальмезона*, не получивъ однакожъ паспортовъ требованныхъ имъ отъ Герцога *Веллингтона*.—*Фуше* теперь главою *Роялиствъ*.

Печатать позволено. Цензоръ Статскій Советникъ и Кавалеръ *Г. Аценковъ*.  
Печатаемо въ Типографіи Прав. Сената, и продается у Г-на Крайя въ домъ Бремьера на Исакиевской площади No. 197.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСКЪ ГАЗЕТЫ „РУССКИЙ ИНВАЛИДЪ“ ОТЪ 10 ІЮЛЯ 1815 Г. СЪ СООБЩЕНІЕМЪ  
О КАПИТУЛЯЦИИ ПАРИЖА

Когда же я увижу вас так, чтобы не надоестъ вам? Нельзя ли сегодня же утром? Посылаю это письмо спозаранку. Стану ждать ваших распоряжений.

Примите уважение, почтение, преданность, благодарность и нежность.

Б. К.

Адрес: Госпоже Крюденер.  
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Рекамье, таким образом, официально была введена в беседы; Констан торопил Крюденер и нетерпеливо ждал первых результатов. В следующем письме уже появляется буква «Р.» и сообщаются радостные наблюдения над первым влиянием Крюденер на подразумеваемую особу. Таким образом, Крюденер приступила к действиям. Но, обнадеживаясь, Кон-

стан недаром держался настороже. Вводить чужое лицо в такое дело можно было, только соблюдая величайший такт и тщательно подготовив все шаги. Он, в самом деле, сделал Рекамье уклончивое полупризнание в том, что был откровенен с Крюденер; он написал ей письмо, где как бы мимоходом сообщает: «Я провел день в одиночестве и вышел из дому только, чтобы посетить г-жу Крюденер. Превосходная женщина! Она знает не всё, но она видит, что страшное горе меня снедает, и она потеряла целых три часа, чтобы утешить меня, она наставляла меня молиться за тех, кто причиняет нам страдания, и терпеливо переносить мои муки... Я предназначен просветить вас небом...»<sup>192</sup>. Видимо, эти истинно христианские чувства не очень утешили Жюльетту. По письму Констана к Крюденер можно заподозрить, что у него были все основания тревожиться и что Рекамье представляла себе дело не так, как он нарисовал ей, а так, как оно было в действительности.

(6)

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>193</sup>

Пишу вам всего несколько строк в ожидании визита к вам в 1 час дня. Впрочем, в случае, если в это время вы будете заняты, будь это г-жа Р. или кто-либо другой, не принимайте меня. Но мне хочется написать вам, чтобы сказать, как эта перемена, начавшаяся в ней в такой согласии с вашими предсказаниями и казавшаяся мне столь трудной и столь маловероятной, преисполнила меня надежды и ради нее, и ради того, чего я добиваюсь и к чему стремлюсь самым добросовестным образом. Я не скрыл от нее своей радости, и она сама глубоко чувствует, что свет немого стоит; ее единственная боязнь,—это недоверие к самой себе, неспособность проявить нужную твердость. Я смогу кое в чем помочь, если она будет меня слушать, так как среди всех ее друзей я не только единственный, поддерживающий ее в этом направлении, но и единственный, не толкающий ее на противоположное. Она не знает, что вы были так добры и выслушали рассказ обо всем, что я выстрадал,—а только лишь о том, что я говорил вам, как нежно я к ней привязан. Я считаю, что ваш сегодняшний разговор с ней будет иметь решающее значение. Я достаточно хорошо знаю ее характер, чтобы убедительно просить вас не говорить ей, что я жаловался на страдания, которые она причинила, ибо этого она терпеть не может, и ее всего больше возмущают подобные жалобы, так как она сознает, что они не совсем необоснованны. Но если вы считаете полезным расположить ее ко мне, тогда скажите ей то, что думаете обо мне и о характере моей привязанности к ней. Я не настолько неискренен, чтобы отрицать, что самое горячее мое желание—это занять в ее сердце особое место. Но бог мне свидетель, что это место самого нежного брата и самого бескорыстного, самого преданного друга.

Простите! Вы—олицетворение доброты, любви и, значит, могущества, и наш друг заслуживает того, чтобы принадлежать богу и вам. Внушите ей это милосердие, эту милостыню души, на которую вы так щедры.

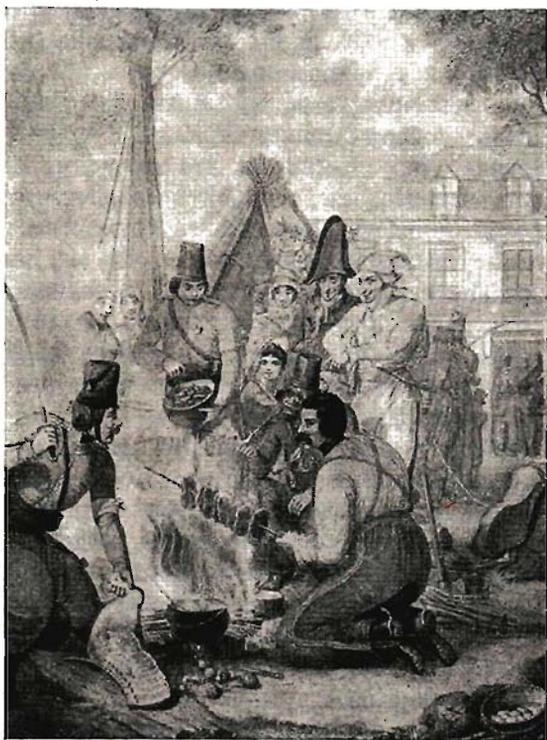
Еще раз простите. Я навязчив, потому что преисполнен доверия к вам, а чувство доверия—такое редкое для меня счастье.

Итак, до 1 часу дня, согласно вашему вчерашнему приказу, если это не помешает вам.

Адрес: Баронессе Крюденер.

Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Письмо составлено опять наскоро и отослано спозаранку. Констан не решается обождать даже нескольких часов, когда сам явится к Крюденер с ежедневным утренним визитом. Подробности письма показывают, что особое значение придавал он тому, как бы его откровенность не была использована окружением Жюльетты. Он не называет имен, но понятно, кого имеет он в виду. Это старая оппозиция ближних людей, в значительной степени повинная в том, что Рекамье так третирует его; они не уставали твердить о констановском аморализме и неустойчивости. Уже год назад по письмам Констана проходят следы непосильной борьбы с Балланшем: «...Стесненный присутствием г. Балланша, я недостаточно хорошо защищал себя... Я почти был готов, прежде чем уйти, броситься к его ногам, чтобы умолять не делать мне зла...»; «... Передайте это письмо г. Балланшу; я хотел бы, чтобы он не работал против меня (*qu'il ne travaille pas contre moi*)...»<sup>184</sup>. Но Балланш и другие доверенные, вроде Матъё Монморанси, не могли не «работать», так как не было причин приостановить борьбу с Констаном, и менее всего могло их успокоить вмешательство Крюденер: протестантский экстазм, импортная немецкая мистика, к которой баронесса пыталась приобщить Жюльетту, вызывали у этих апологетов католицизма лишь дополнительное сопротивление. Констан своей связью с Крюденер усиливал их противодействие себе. Как раз теперь он был в зените надежд и спешки. Он ждал обещанного чуда, он торопил развитие «начавшейся в согласии с предсказаниями перемен» в Жюльетте, хотел ежедневно и самолично наблюдать за ней, чувствовать возрастающее «средство душ», а получал знаки все того же своего отверженничества, те же нехотя даруемые встречи, равнодушные к проявлениям горя, озлобление на упреки,



РУССКИЕ В ПАРИЖЕ  
Акварель Г. Опица, 1814 г.  
Исторический музей, Москва

а главное—нескрываемое, нарочитое, непереносимое, пред всем светом выказываемое предпочтение всех и каждого ему: «...бога ради, не погружайте меня снова проявлением безразличия в ужасный страх, в который я так готов впасть...»; «...нет ни одного из ваших друзей, с которым вы не предпочли бы быть...»; «...есть нечто необъяснимое в вашем отношении ко мне, вы не бываете такой с другими...» и т. п.<sup>195</sup>. В нем назревало отчаяние, которое привело к кризису. Следов его в наличествующих источниках нет. По опубликованным письмам Констана можно лишь установить, что сентябрь 1815 г. был наиболее беспокойным месяцем в финале их истории. В одной фразе, мелькнувшей в большом письме, правда, отразилось прошедшее потрясение: «Восемь дней назад я вернулся к себе, проклиная судьбу, думая о самоубийстве, и оставался тридцать шесть часов без движения, в одиночестве, в агонии отчаяния»<sup>196</sup>. Это не слишком останавливает читательское внимание,—это слова, слишком частые у Констана. Однако, в крюденовском архиве оказались два письма, которые говорят, что в эту пору, действительно, была кульминация истории Констан—Рекамье.

(7)

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>197</sup>

Дорогой друг, вам, сжалившейся надо мной, вам, пожелавшей спасти погибшую жизнь, вам говорю я прости навеки. Есть мера страха и муки, которой сила человеческая не может вынести: нельзя, поистине, обвинять меня в слабости—меня, страдающего больше года от всех язв разбитой души. Нельзя обвинять меня в бунте—меня, уже год молящего небо вырвать из сердца моего боль, которая его убивает, или внушить существу, причиняющему ее, немного жалости. Клянусь вам, ежели бы я мог подчиниться, если бы агония не была настолько неистова, что все нервы мои в конвульсии, если бы самое дыхание не стало для меня казнью, если бы что-либо приносило мне облегчение, я упал бы на колени, возблагодарил бы милость божию, благословил бы ту, которая вершит надо мною казнь; но боль слишком страшна, и когда я думаю, что вот уже тринадцать месяцев, как это длится, что это может длиться еще дальше, что тринадцать месяцев безграничной преданности, ежеминутной поглощенности не могли привлечь ни малейшей дружественности, что она рада обманывать самые трепетные мои надежды, что она знает о том, что видеть ее иногда наедине есть для меня жизнь, и, однако, нагромождает сколько угодно бесцельных препятствий, хотя ей нечего бояться,—с упорством, которого ничто не обезоруживает,—я содрогаюсь при мысли продлить этот ужас. Я считаю себя оправданным во всех средствах, какие мог бы применить, чтобы сократить его.

Говорить вам о том, почему я вновь оказался в таком страшном положении, было бы бесполезно. Всё может быть холодно объяснено, доказательства равнодушия толкуются простейшим образом, каждое отдаление является делом случайности; но когда я вижу, что эта случайность обрушивается только на меня, когда я вижу, что она заготовлена заранее, когда я узнаю, что, боясь подарить мне какой-нибудь ничтожный час, который был бы глотком воды для злосчастного, умирающего от жажды, она вызывает спешно письмом одного из родичей; когда я во всем встречаю это желание избегнуть меня, когда я вижу ее такой мягкой и снисходительной с другими и такой безжалостной со мной,—я не могу питать иллю-

зий. Я готов разбить себе голову о стену, слезы грузом давят на сердце и не могут облегчить меня. Я уже не сопротивляюсь, не в силах сопротивляться, а, вместе с тем, всё так хорошо слажено, что она как бы не знает о моем страдании, избавляет себя от лицемерия его, предоставляет мне терзаться в одиночку, так, дабы до нее не доходило ничего, что могло бы возбудить в ней жалость. Вот еще сегодня: я видел ее две минуты, она предложила мне отобедать в обществе, но она предпочитает скорее, чтобы я умер, нежели позволить мне повидать ее хоть мгновение наедине, и я должен был, по обыкновению, влачить свою агонию среди равнодушных людей. Надо было болтать, отвечать, притворяться спокойным, слушать похвалы моему уму—этому уму, который я ненавижу, ибо он не сумел понаравиться ей.

Нет, даже вы, единственный друг мой, вы не можете потребовать от меня продолжения такой казни. Я не освобождаю себя ни от одного долга. Я выполню их все и сделаю благо всем кругом,—жена моя прожила полтора года без меня,—на что могло бы пригодиться ей изничтоженное сердце? Если она еще любит меня, оно сделало бы ее лишь несчастной, и пусть уж лучше она погорюет обо мне. Отец мой оставил в малоблагоприятном положении детей, чье двусмысленное происхождение уже является несчастием<sup>198</sup>; мое состояние поправит это. Единственная вещь... [пропуск в рукописи] мне,—а именно, чтобы никто не знал, что я не смог долгие вынести жизнь,—и никто этого не узнает. Чуть-чуть больше ловкости и несколько лишних часов, которые потому уже будут не так мучительны, что мое решение принято; всё покажется естественным, и я вызову в единственном существе, которое, быть может, еще удостаивает любви это создание, столь презренно попранное ногами другой, лишь обычные и преходящие сожаления, каковы они всегда. От вас самих я бы скрыл это, если бы мне не хотелось в одиночестве агонии сказать себе, что вы жалеете меня. Простите,—это эгоизм, но так тяжело умирать одному. Ваши молитвы будут окружать меня в этой одинокой комнате, отныне запертой для всякого живого существа до той поры, пока кто-либо счастливее меня поселится здесь. А ей писать я не стану! Она могла бы счесть это за представление, за игру, быть может, за вымогательство, она видела мое отчаяние не один раз, она поверит лишь непоправимому. Она возвращается завтра в деревню, пробудет там неделю. Это—в восемь раз дольше, чем следует. Она будет вполне свободна по возвращении,—я так надоедал ей. Бог мой, как любил я ее! На какие тысячи ладов выворачивался я, лишь бы обрести между нами хоть какую-нибудь связь! Как спешил я служить ей, как счастлив был повиноваться малейшему ее знаку, как жадно искал приобщиться к ней в любой вещи! Она не раз сама это признавала. Она говорила мне об этом. Зачем она убила меня? Мне явственно, что она пожелала с такой железной волей, чтобы я был ничем в ее жизни. Чем только ни пользовалась она для моего удаления! За три месяца я не видел ее наедине и двух раз! Того, что когда-то она делала, не раздумывая, что было так просто и естественно, теперь она избегает! И, однако, отказывая мне, она это делает для всех других. Ее видят свободно, она слушает, она отвечает, она хвалит,—лишь одного меня она отталкивает, и пробыть четверть часа со мной наедине представляется ей несчастием.

Ангел-хранитель последнего месяца существования моего, благодарю вас и благословляю вас! Вы сотворили мне благо, и вопреки тому, что вам, быть может, кажется преступлением, моя душа вернется, став

лучше, просить милосердия у создателя своего. Нет, это не преступление! Кому приношу я добро? Пользуюсь ли я своими дарованиями? Вот уже год, как они обращены в ничто. Это—физическая болезнь, и я не более виновен, чем если бы умер от любой другой болезни. Разве было бы лучше, если бы я сошел с ума? Или вы думаете, что навязчивая мысль, неотступная боль не привели бы меня прямым путем к безумию? А ведь я не раз чувствовал себя на краю этого. Одно приходит мне на ум и пугает меня. Может быть, вы считаете своею обязанностью испробовать какое-нибудь средство, чтобы отвлечь меня? Подумайте,—у вас нет такого! Вы лишь сделали бы меня посмешищем света, и я стал бы только еще несчастнее, если только мое несчастье могло бы стать больше. Вы воздвигли бы лишь новое препятствие между нею и мной, согласись я жить. Она стала бы ненавидеть меня за причиненное волнение. Нет! Не осталось уже ни средства, ни надежды! Поверьте мне, даже теперь я готов был бы искать их,—но их нет. Проявите же доброту, о которой я прошу вас,—молитесь за меня, молитесь за нее. Она менее виновна, нежели был я по отношению к некоей другой, и за это-то я и наказан. Не говорите ей ничего обо мне, а если позднее вы встретитесь с нею, скажите, как сильно я любил ее, но не говорите ей о зле, которое она мне причинила. Ради бога, убедитесь же, что вы ничего не можете сделать. Если вы станете говорить с ней, она вообразит, что это по моему настоянию; она станет презирать меня за достойную презрения уловку. О, не злоупотребляйте же моей доверчивостью, не навлекайте на меня ее презрения!

Мне не следовало бы посылать вам это письмо, но я не в силах противиться вашим просьбам, вашему вмешательству, может быть, действительному; есть что-то такое бесплодное в моем одиночестве, и мысль, что вы страдаете моей судьбе, приносит мне облегчение. Может быть, голова моя ослабла. Чувствую, что писать вам нелепо, и всё же мне это сладостно. Но не причиняйте мне последнего зла, какое можно мне причинить, и простите меня вы, верующая и богом благословенная женщина, простите меня. Не пытайтесь как-либо воздействовать на нее,—она не поверит вам. Я часто ей говорил, что умру, если не создам между нею и собой нежную дружбу, и что у меня потребность видеть ее,—она ни разу не поверила мне. Вы, может быть, стали бы негодовать на меня, если бы что-либо с ее стороны еще могло причинить мне тяжелую минуту. Она ненавидит безумие, а разве мое чувство и мое отчаяние не таковы?

Я успокоился за этим письмом к вам: нет, это мысль о смерти успокоила меня. Чувствую, что, если бы я вернулся к жизни, все мои мучения возобновились бы. Вы можете сотворить мне благо лишь своими молитвами; вы не можете от нее добиться ничего, кроме негодования против меня. Она не считает, что причиняет мне муку, она не подозревает этого. Она думает, что доставила мне удовольствие, пригласив меня к себе на обед, где у меня не будет возможности обменяться с ней хоть словом. Поверьте, не прими я определенного решения, я не стал бы делать того, что может лишь еще больше отдалить ее от меня. Я—как все помешанные. Есть разум в моем безумии, не правда ли? Молитесь за меня, ничего не предпринимайте. Любите меня, ибо я люблю вас. Сейчас шесть часов утра. Стану приводить в порядок мои дела. Бедные дети моего отца будут очень изумлены, оказавшись богатыми. Их счастье доставляет мне радость.

БРОШЮРА Ю. КРЮДЕНЕР „ЛАГЕРЬ В ВЕРТЮ“,  
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАРАДУ РУССКИХ ВОЙСК  
В ШАМПАНИ (ФРАНЦИЯ) БЛИЗ ВЕРТЮ  
10 СЕНТЯБРЯ 1815 г.

Первая страница первого издания, 1815 г.

93. XIV. 5. 43

LE CAMP  
DE VERTUS.

Nous venons d'être témoins d'une de ces grandes scènes qui rattachent les Cieux à la Terre, et que la postérité verra comme une de ces grandes et sublimes pages de l'Histoire, qui deviennent la révélation des siècles.

Qui oseroit l'écrire cette histoire de nos temps ! Quel est le Tacite assez audacieux pour toucher à ces faits, qui, semblables au Sphinx de la Fable, dévorent tous ceux qui n'ont pas le mot de cette énigme ?

Tous ces faits échappent à ceux qui n'ont pas le Dieu vivant pour les leur expliquer, et qui toujours resteront isolés et enveloppés de

Прощайте же вы, делающая столько добра; вы и мне достаточно сделали его. Скройте вину мою от окружающих. Не навлекайте на меня их хулу. Обладательница моей тайны, соблюдайте ее. Я уступил необходимости приобщить вас к себе, чтобы не быть так страшно одиноким. Я приказал лакею никого не впускать. Дверь моя окончательно заперта. Я не увижу ее больше открытой, когда отошлю это письмо.

Еще раз, сделайте мне единственное благо, какое можете сделать, — молитесь за меня. Но не говорите ей ничего. Пусть не умру я с мыслью, что она презирает меня. Поверьте мне: узнай она, — она всё же не поверила бы. Она усмотрела бы в этом лишь новый повод оттолкнуть меня. Если бы я мог удовлетвориться тем, что она дает мне, я удовлетворился бы. Я не мог: она стала бы давать еще меньше. Выхода нет.

Еще раз, коленопреклоненно, прощайте! Сделать добро другим, доставить им удовлетворение, никому больше не докучать, — разве это зло? А какое еще добро мог бы я сделать? Разве способности мои не пришли в негодность? Прощайте, прощайте.

В письме звучит живой человеческий голос. В нем чувствуется настоящее потрясение. Оно было бы даже трагическим, если бы спустя всего лишь день не пошло в тот же адрес новое письмо, лишний раз подтвердившее, что «мысль о самоубийстве помогает переживать мучительные ночи». Крюденер вызвала Констана, утешила его, обещала завтра же повидаться с Рекамье, добиться умиротворения; этого было достаточно, чтобы он ожил, даже несколько смуглив Крюденер быстротой своего воскресения: во всяком случае, его второе письмо посвящено как раз доказательствам того, что дело обстоит серьезно и что он впрямь готовится умереть.

(8)

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>109</sup>

«Не пугайте меня больше»,—сказали вы мне вчера вечером, когда я уходил от вас. Эти слова меня преследуют. Неужели вы думаете, что всё мое письмо, все мои страдания имели целью только вас напугать? Я сознаю, насколько я становлюсь докучливым, придираясь к каждому слову. Увы! Я не был таким прежде. Непрерывное горе сделало меня недоверчивым; навязчивая мысль сделала меня безумным. Нет, дорогой друг, не для того, чтобы напугать вас, писал я вам вчера утром. Отчаяние было в моей душе, и желанием избавиться от него было преисполнено все мое существо. Я жаждал, чтобы оно перестало сжигать мое сердце, в которое вселилось, чтобы терзать его. Мое страдание превратилось в физическую болезнь, стало неизлечимым. Достаточно слова, напоминания, малейшей помехи, чтобы вызвать боль, и никакое усилие разума не может ее успокоить. Вы успокоили ее вчера, и при мысли, что я увижу сегодня ту, которая является причиной моих страданий, бессмысленная, безрассудная, ни на чем не основанная надежда, которая, как я ее ни отгоняю, начинает витать вокруг меня, вернула мне, когда я был у вас, проблески веселости,—эти обломки подавленного ума и разбитого существования. Но когда сегодня утром вы попытаетесь раскрыть мое сердце той, которая не хочет его знать,—во имя сострадания не ошибитесь во мне.

Я мучаюсь попрежнему, и жажда не ощущать более этого мучения меня томит. Осмелюсь ли я сказать вам, что даже вы, вы сами, увеличили мои страдания, сказав, что они не уменьшатся и что моя душа станет блуждать подле нее, не будучи в состоянии общаться с нею. Не от нее, следовательно, будут исходить препятствия. Она не будет больше проявлять этого составляющего мою муку желания избегать меня. И не ее придется мне обвинять в этом. О поверьте, такую цену все прочие мучения стали бы счастьем. Простите, я, быть может, вас оскорбляю. Я не хотел этого! Я показываю вам себя таким, каков я на самом деле и каким мне очень не хотелось бы быть. Я вовсе не ношусь со своей болезнью. Я молю бога вырвать ее из моего сердца, но уже год, как мои молитвы бесплодны. Вчера я покинул вас несколько успокоенный. Утомленный предшествовавшей ночью, я смог уснуть. Увы! Сон подкрепил меня, и вот с пробуждением вернулась мучительная тревога. Вникните же хорошенько в мой недуг. Разберитесь в его причине, поскольку вам угодно поговорить обо мне. Причина не в том, что я не могу добиться ее любви, а в моей потребности в доверии, симпатии, привязанности—потребности, которую она делает еще более неодолимой, стараясь уклониться от нее. Двух минут, в течение которых я могу выразить это, уже достаточно, чтобы принести мне облегчение; но когда проходят дни и я лишен возможности излить перед ней душу, все мои силы иссякают. Итак, вы хотите знать, что привело меня в то ужасное состояние, в котором вы меня видели? Целая неделя такой томительной тоски. В прошлое воскресенье она приглашает меня на послезавтра. Прихожу. Застаю у нее общество. Я не могу сказать ей ни слова. Она видит мое огорчение, она тронута им. Она пользуется свободной минутой и приглашает меня притти через два дня. Отправляюсь—новые препятствия. Она снова растрогана. Она говорит, что можно будет увидеть ее позавчера. Прихожу—она окружена посторонними. Она чувствует, что мое сердце готово разбиться. Она приглашает меня к обеду на вчера и говорит, что будет некоторое время одна.

Я являюсь в пять часов; она возвращается домой к шести. Она пригласила еще других, они все налицо. Она лишена возможности сказать мне слово. И вот так, от препятствия к препятствию, от обещания к обещанию, от одной обманутой надежды к другой, влачится моя жизнь. Пусть же узнает она меня, наконец! Пусть поймет, что если я не упал тут же за-мертво, когда она удалила меня от себя, а ушел к себе, то только затем, чтобы не подвергаться пытке на ее глазах.

Увы! Меня охватывает страх за нее. Я поступал так же; то, что я говорю теперь, мне говорили раньше. Я так же был рад уклониться и не видеть чужих слез. Их проливали вдали от меня,—и вот возмездие наступило! Не кажется ли вам, что есть тайна и божественная справедливость во всем том, что я переживаю! Я столько времени встречался с ней, не испытывая к ней ровно ничего. А о том, как старалась она убить мое чувство, она знает и сама. Я отдаю ей должное,—она сделала всё, что могла. Но мне следовало понести наказание. Зачем же хочет она совершить такое же зло и подвергнуться такому же возмездию? Орудие пытки становится, в свою очередь, объектом пытки. Тот, кто причиняет такое ужасное страдание, всегда виновен. Она спрашивает, что может она сделать. На это ответить нетрудно. Пусть уделит час в день, час в два дня, когда бы я мог беседовать с ней. Она знает свою власть надо мной, ей нечего бояться. Не достаточно ли унижительно для меня являться каким-то бременем! Почему мне не допустить мысль, что я буду наводить на нее скуку не более... [нерзб.], чем любой другой? Если даже такое незначительное усилие ее стесняет, пусть предоставит меня моей судьбе. Но пусть потом она не горюет о моей тоске и о моей смерти.



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ РУССКОГО ПЕРЕВОДА  
БРОШЮРЫ Ю. КРЮДЕНЕР „ЛАГЕРЬ ПРИ  
ВЕРТЮ“

Издание 1815 г.

Разве я не выносил всего? Разве после девяти месяцев, проведенных в самом интимном ее обществе, я не позволил выгнать себя, как человека, недостойного быть принятым в доме? Это было, однако, тяжело. Другой бы на моем месте оскорбился, я же, полагая, что это было ей нужно, подчинился. Она могла меня вознаградить; она пожелала сделать это. Но те минуты, которые она уделяла мне, всегда оказывались занятыми. Лиц, которых она принимала, когда я был изгнан, я встретил опять, когда был вновь принят. Она заставила меня нести тяжесть проскрипции, не даровав никакого утешения, в котором, в силу природного своего великодушия, она не отказала бы человеку совсем безразличному. А между тем, она знает, она признает, что я люблю ее больше, чем кто-либо. Преступление попирает ногами такое чувство! Она хочет убить это чувство, но убьет лишь меня самого. Если бы я рассказал ей, во что превратилось мое существование за этот злосчастный год, она содрогнулась бы. Настанет время, когда она станет упрекать себя за такую беспечность. Я же—я страдаю, умираю, но не жалуясь. Сегодняшнее утро решит мою судьбу. Я верю в вас потому, что моя преданность и чистая привязанность к ней не содержат ничего, что не заслуживало бы вашего участия. Однако, я питаю мало надежды. Я пишу с трудом. Тоска поминутно охватывает меня, пусть хоть об этом знает она. Пусть знает, что эта тоска никогда не покидает меня. Я писал ей третьего дня, что если бы моя мука могла принести ей пользу и если бы, умирая от боли, я мог бы служить благодетельным толчком, чтобы извлечь ее из той пустоты, где она мечется безо всякого счастья, я благословил бы и свои страдания, и свою смерть. Она взяла мое письмо, а затем даже не сказала, прочла ли она его. Я пролил над ним столько слез, и эти слезы упали обратно мне на сердце.

Простите за все эти жалобы. Я ни на что не надеюсь. Я уже сказал вам, что ранен смертельно. В этом у меня есть бесспорное предзнаменование. Я стану молиться, я стану страдать,—но умру. Есть некая тайна в этой судьбе. Только бы она не стала жертвой этого.

Я скоро приду к вам. Простите! Вам присуще делать добро, вы научите меня, как поступить. Возьмите остаток моей несчастной жизни. Я потерял голову. Владейте мной, как музыкальным инструментом, который она разбила, которым она пренебрегает, который ей надоел. Позвольте мне отдать мое состояние бедным, пошлите меня к дикарям, извлеките меня из этого места мук. Нет, вы не смягчите ее! Боже мой, что сделал я ей? Простите! Я еще увижу вас. Пожалейте меня, и пусть она пожалеет меня, если может.

Думается, что именно к этому времени надо отнести и с этим эпизодом связать то единственное письмо, вернее, записку г-жи Рекамье, которая сохранилась в крюденеровском архиве. По ходу дела здесь ей больше всего место. Выполнить обещание, которое Крюденер дала Констану, было не просто: легко было увидеться с Рекамье, но трудно было изменить ее отношение к Констану, хотя бы и в простейших вещах, о которых теперь шла речь. Никаких следов крюденеровского влияния на Рекамье обнаружить нельзя. Даже отдаленно не может быть сравнений с Констаном. В глазах парижского света он был уже не просто завсегдаем ее салона, но ее адептом и, при случае, даже ее представителем; у него появились приемы, язык Крюденер, набор ее штампов; его сентябрьские письма к Рекамье пересыпаны выражениями, каких никогда раньше не было и не могло быть; если месяц назад он еще писал в традиционном

риторико-любовном стиле: «Вы—мое небо, вы—мой бог; когда небо закрывается, когда бог меня отвергает, я чувствую себя в аду», то в сентябре это сменяется благочестивыми формулами: «Я пойду к подножию этого креста, символа скорби и сострадания, которого лишены люди... я буду молиться, пока ужас не пройдет...»<sup>200</sup>. Но у Рекамье никаких успехов обращения или готовности к послушанию не отмечалось. Записка Рекамье говорит о специальной мере, которую применила Крюденер: она послала Жюльетте некоторые из тех писем, которые получила от Констанана, и просила свидания в связи с ними; г-жа Рекамье ответила ей:

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>201</sup>

Я буду иметь удовольствие видеть вас завтра, ежели вам это угодно,—вы мне очень нужны и вы так добры! Посылаю вам письма нашего друга. Примите выражение моего уважения.

Свидание состоялось назавтра; оно дало итоги, характерные для неуловимости г-жи Рекамье. С одной стороны, по дальнейшим письмам Констанана к ней видно, что прошла еще целая неделя, прежде чем она разрешила ему повидать себя; она не торопилась с состраданием. С другой стороны, у Крюденер осталось впечатление, что эта душа для нее еще не совсем потеряна. Она убеждала Жюльетту, что лучшее средство успокоить Констанана—это совместные молитвы, общее чтение душеполезных произведений. Так разыгрался очередной трагикомический эпизод с мистической рукописью, которую Крюденер прислала для целительного чтения Констанана и Рекамье. Рукопись была направлена ему, чтобы передать ей: таков был ход. Бенжамен, разумеется, загорелся, запылал надеждой, стал добиваться свидания, просил назначить часы; рукопись заняла место и в его «Дневнике», и в трех письмах к Жюльетте<sup>202</sup>, и в письме к Крюденер. Он немедленно извещает о чудодейственной посылке г-жу Рекамье: «... я видел вчера г-жу Крюденер, сначала среди посетителей, потом наедине в течение нескольких часов. Она произвела на меня впечатление, какого я еще не испытывал, а нынешним утром это еще увеличилось, в силу другого обстоятельства. Она прислала мне рукопись с просьбой сообщить ее вам и не отдавать никому другому. Я хотел бы прочесть ее вместе с вами. Мне она принесла благо; в ней нет чего-либо особо нового: то, что испытывают все сердца в счастья или в нужде, не может быть совершенно новым, но не раз она давала душе моей это ощущение... Мысль, что именно мне г-жа Крюденер прислала ее для вас, сама по себе тронула меня... Там есть истины совершенно обыденные, но они вдруг поразили меня. Когда я прочел следующие слова, в которых нет ничего особенного: «...как часто завидовал я тем, кто работает в поте лица своего, умножает труд трудом и идет в конце дня на ночлег, не подозревая, что человек носит в себе копи, которые ему надлежит разрабатывать! Тысячу раз я говорил себе: будь, как другие...»—я залился слезами. Воспоминания о жизни, такой опустошенной, такой бурной, которую я сам направлял на все подводные скалы с каким-то неистовством, меня охватили в такой степени, что я не смог бы описать...»

По цитате, приведенной Констананом, можно судить, каково было целое; нужно было либо очень проголодаться, чтобы находить в этом вкус, либо же не в достоинствах пищи тут было дело, а в совместной трапезе. Г-жа Рекамье так это и поняла. Она не отказывалась прочесть крюденеровское послание, но не желала производить это вдвоем; вернее, Балланш для

подобного чтения был для нее пригоднее Констана. Констан должен был удовлетвориться отсылкой рукописи и ждать итогов. В этих условиях они были уже наперед ясны. Он известил о них Крюденер следующим письмом:

(9)

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>203</sup>

Когда возвращаетесь вы, сударыня? Я сгораю от нетерпения вас по-видать! Я знаю, что при вашей небесной доброте вы меня примете, как только сможете; я чуть было не сказал,—как только мне это будет необходимо; но это значило бы хватить через край, так как потребность в этом у меня постоянна; но не могу же я отнимать вас у всех других, испытывающих ту же потребность, что и я. Вы и так оказали мне бесконечное благодеяние. Три последних дня были если и не спокойными, то, по крайней мере, менее горестными по сравнению со всеми пережитыми за истекший год слишком. Я прочел то, что вы мне прислали, какой-то неведомый источник слез открылся, смягчил мне сердце и словно бы растворил давивший его камень. Я передал рукопись известной вам особе. Мне хотелось прочесть ее вместе с нею. Она пообещала, но потом уклонилась. Она прочла ее одна, и чтение произвело на нее впечатление. Только все эти впечатления мимолетны, а она сознательно стремится сделать их еще более мимолетными. Она боится углубиться в самоё себя, а в оправдание говорит, что заниматься собою—эгоизм. Дай бог, чтобы вы возымели на нее то благодетельное влияние, какое вы имеете на страждущие сердца.

Известите меня немедленно о своем возвращении. Мне необходимо с вами переговорить, мне нужна ваша неисчерпаемая доброта. Я чувствую, что стрела, впившаяся мне в сердце, удалена; но нанесенная ею рана остается открытой и все еще кровоточит.

Надолго ли остаетесь вы? Увы! Когда вы уедете, все мои мучения могут возобновиться. Меня успокаивает, меня смягчает только мысль, что увижу вас. Мое сердце сохнет и вновь беспрестанно замыкается в себе, вопреки моим желаниям. Только бы мне увидеть вас,—располагайте моей опустошенной душой, для которой вы одна находите нужные слова.

Б. К.

*Адрес:* Баронессе Крюденер.

Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Из письма явствует, что личные приемы у Крюденер были прерваны,—она уезжала на несколько дней. Видимо, это была та самая поездка в Шампань, которая явилась высшим проявлением почета, оказываемого Александром своей Эгерии: в императорском экипаже, сопровождаемая дочерью и зятем, она присутствовала на грандиозном смотре русской армии, который Александр демонстративно устроил на равнине Вертю 10 сентября 1815 г., перед подписанием договора о Священном союзе<sup>204</sup>. «...Обнажив голову,—живописует Сент-Бёв со слов очевидца,—иногда чуть прикрывая ее соломенной шляпкой, которую она охотно сбрасывала, разметав по плечам свешивающиеся, все еще золотистые волосы и изредка возвращая и прилаживая на середку лба локон,—в темном платье с длинной талией, еще элегантно от умения, с каким она его носила, и подпоясанном простой веревкой,—такой появлялась она в эту пору, такой явилась она с зари на эту равнину, такой, стоя, в минуту молитвы, предстала она, точно пустынный Петр, пред фронтом простершихся войск»<sup>205</sup>.

РУССКИЕ В ПАРИЖЕ  
Акварель Г. Олица, 1814 г.  
Исторический музей, Москва



Это был зенит ее славы, но и начало ее конца. Парижское пребывание Александра быстро шло к финалу,—тем быстрее, чем отчетливее обозначалась неудача его политики. Он мог красоваться, как первый, среди четырех монархов-союзников, осуществлять на парадных церемониях зачатки гегемона Священного союза, но уже не было тайной, что это лишь зрелище для зевак, что, по существу, царь изолирован, и как ни разнообразны и порой взаимно-враждебны планы Англии, Австрии и Пруссии,—они все объединены в сопротивлении ему. Констан был в праве тревожиться тем, сколько еще времени Крюденер задержится в Париже; с отбытием Александра надо было ждать и ее отъезда. Но вопрос решался уже не количеством времени, какое могло быть у Крюденер для констановских дел,—она задержалась в Париже дольше своего императора,—это не оказало никакого влияния на исход эпизода. В ее арсенале не было больше средств влиять на Рекамье, да она и не собиралась продолжать с ней опытов. Дело было в самом Констане—в том, чтобы затянуть его раны и сохранить его при себе. После неудачи с мистической рукописью еще продолжается то, что Констан патетически именовал своей «агонией»—вспышки пробуждающихся надежд и новые припадки протрации. Крюденер успокаивает его привычным лекарством. В констановском «Дневнике» читаем: «Г-жа Крюденер дала мне написать молитву, которая заставила меня разрыдаться. Как благотворно на меня влияние этой женщины!..». Это написано следом за пометкой о той первой, магической, рукописи. Писание молитвы было, таким образом, способом разогнать меланхолию, в которой застала его Крюденер, вернувшись из поездки. Но вот продолжение той же записи: «...Я снова увиделся с Жюльеттой, умиротворенно и спокойно, но считаю ее весьма мало пригодной для

религиозных идей. Она растрчивает себя на мелкое кокетство, из которого сделала себе ремесло, и чувствует радость и печаль от томлений, которыми наделяет трех-четырех воздыхателей, томящихся вокруг нее. Затем она соглашается сделать какую-нибудь крупицу добра, если это только не требует от нее усилий, и превыше всего ставит мессу со вздохами, которые, как она думает, исходят у нее из души, а в действительности вызываются у нее лишь скукой»<sup>206</sup>. Казалось бы, после такой отчетливой характеристики нужно если не вовсе отступить от Жюльетты, то хотя бы перестать привораживать ее крюденовским знахарством. И, однако, текст упомянутой молитвы оказался в бумагах г-жи Рекамье. Значит, Констан все-таки передал его ей и даже настоял, чтобы она сама его переписала. Действительно, талисман сохранился не только в подлиннике, написанном констановской рукой, — видимо, под крюденовскую «диктовку», — но и в копии, сделанной почерком Рекамье<sup>207</sup>. Однако копия эта оборвана на полуфразе: у г-жи Рекамье, даже в минуту снисходительности и готовности к «крупнице добра», нехватило терпения переписать весь лист!

Расхождения Крюденер и Рекамье и положение Констан между ними ошутительно отразились в двух его ближайших письмах. Он считает, что Крюденер недостаточно занимается его делом. Ему хочется, чтобы она не выпускала Жюльетту из под опеки. Таково его письмо к Крюденер накануне отъезда г-жи Рекамье во второй половине сентября в Сен-Жермен.

(10)

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>208</sup>

Не могу выразить вам, как грустно мне не видеть вас сегодня. Это эгоизм, ибо вы заняты лучшими делами или, по меньшей мере, столь же хорошими, и вы не можете делать добро лишь мне одному. Это также слабость, ибо душа моя должна бы... [нерзб.] и, памятуя о могуществе вашем, чувствовать его и еще пользоваться им. И, однако, это так, и я могу утешиться лишь письмом к вам. Я хотел было сначала поговорить с вами о вашем друге. Она ускользает от вас, к великому моему сожалению, именно в силу того ее свойства, которое должно было бы привязать ее к вам, — в силу мечтательности, которой способствует деревня и которая держит ее вдали от Парижа, принося ей, однако, много менее блага, нежели бы сделали ей вы. Я совсем теряю надежду видеть ее сердечно... [нерзб.] привязанной к тому, в чем все души испытывают потребность, а ее душа более любой другой. Я был бы в отчаянии, ежели бы она уехала, не повидав вас, а если она отдаст себя на волю ленивой своей мечтательности, как раз так и будет. Наконец, у меня было намерение сегодня, когда дружественность, которую она мне выказала, вернула мне силу подумать о вещах мало обычных, поговорить с вами уже не столько о себе, сколько посоветоваться с вами о тысяче вещей. Фаншетта сказала мне, что вы приглашаете меня вернуться к семи часам, но М-ле де [Лезэ]<sup>209</sup> сказала, что сегодня вечером видеть вас будет нельзя. Неуверенность вынуждает меня отказаться от какого-либо визита сегодня. У меня всегдашнее искушение поставить это себе в большую заслугу, ибо это крупная жертва и истинная боль. Наконец, есть у меня другое беспокойство. Душа моя хмурится, так как страдает. М-ле де Лезэ встретила меня менее дружественно, — может быть, просто оттого, что она была с кем-то занята и я помешал ей; однако, мне пришло на мысль, что вам нагово-

рили дурного обо мне, а ваша доброта пожелала дать мне оправдание. О, предоставьте другим думать всё, что им угодно. Я ничего не прошу от них, но сохраните ко мне дружественность, которая мне так нужна. Итак, завтра я вас увижу в четыре часа. Я утешаюсь этой мыслью, чтобы не чувствовать тоски.

Он сам рвался в Сен-Жермен, бороться с опасностью, прервать отчуждение, усугубленное деревенской «мечтательностью». Получить согласие г-жи Рекамье на посещение было нелегко,—он всё же его добился. Г-жа Рекамье разрешила приехать, но потребовала совершенной дискретности. Однако, Констан уже не был себе хозяином. Тайн от крюденеровского круга у него больше не было. Он нарушил уговор—и пришел в панику. Он отказался от поездки и написал Крюденер жалкое письмо:

(11)

[Париж, сентябрь 1815 г.]<sup>210</sup>

Единственный ангел-хранитель мой, единственный руководитель мой, единственная опора моя в этом мире,—простите, если пред тем, как сегодня увидеть вас, я все же заранее пишу вам. Вы несете тяжесть того добра, что делаете, и того, что хотите делать. Несчастные толпятся вокруг вас, не таясь и не сдерживая себя. Страдание сильнее, чем все нормы поведения, которым оно хотело бы себя подчинить. Я пишу вам, чтобы просить о трех вещах: одна—очень ребяческая и очень мелочная; две других—более важные, хотя, по существу, без ангельской вашей доброты, вы должны были бы счесть все три весьма малозначащими.

Так вот первая: не говорите о путешествии в Сен-Жермен, которое я было затеял; я не поеду, но мне важно, чтобы не знали, что у меня было такое намерение или возможность. У нее—особые капризы, а именно—чтобы не говорили о чем-либо касающемся ее, даже о самых безразличных вещах. Я получил разрешение поехать повидать ее лишь под условием молчать об этом. Вам же я рассказал, так как сердце мое открыто вам, как богу. Но это вызвало бы, если бы дошло до ее сведения, лишь новые удары в это столь израненное сердце, а дойти до нее это может известными мне путями, если только вы скажете об этом хоть кому-нибудь. Тысячу раз прошу прощения. Я улыбаюсь из жалости, из презрения к самому себе, когда пишу вам подобные вещи. Но я так исстрадался, мое сердце так разбито, агония делает меня таким слабым, таким малодушным! Вы простите меня. Вторая просьба важнее. Вы связаны и живете вместе с особой<sup>211</sup>, которую я уважаю, ибо вы ее любите и она делит мысли ваши, но которая сочла нужным пожаловаться на ту, о ком сейчас идет речь. Знай она о том, что я испытываю, она, может быть, сочла бы это результатом того кокетства, о котором она нередко при случае говорила. Я никогда не мог бы примириться с тем, что стал причиной осуждения для той, кто причиняет мне столько зла, обычно не думая о нем. Она сама сочла бы меня источником нападков, которые стали бы ей ненавистны. Я ясно заметил, что уважаемая ваша дочь кое-что знает о том, что я испытываю, и даже как-то раз, сгоряча, я беседовал об этом с вами в ее присутствии. Умоляю вас приложить все усилия к тому, чтобы всё это не вышло наружу. Еще раз прошу простить меня, но лишней капли среди необычайных страданий, не покидающих меня, было бы достаточно, чтобы переполнить чашу. Наконец, третья моя просьба касается того, о чем

вы сами вчера говорили мне. Вы хотели разрушить неблагоприятные отклики, которые, казалось вам, несправедливо бьют по мне. О, не разрушайте их такой ценой! Пусть имя ее никогда не будет произнесено. Мнение людское мало заботит меня. Карьера моя в этом мире вполне потеряна. Она всему виной, но вина ее безвинна. С самого первого дня она разъяснила мне, как легок и зловещ ее характер. Она сделала всё, чтобы убить чрезмерность моего чувства. Не ее вина, если она убила меня самого. Она взялась за это с наилучшим намерением, как человек, который не вникает в то, какой удар наносит он преданному сердцу. В ее жестокости было незнание, а в ее усилиях—добрый умысел.

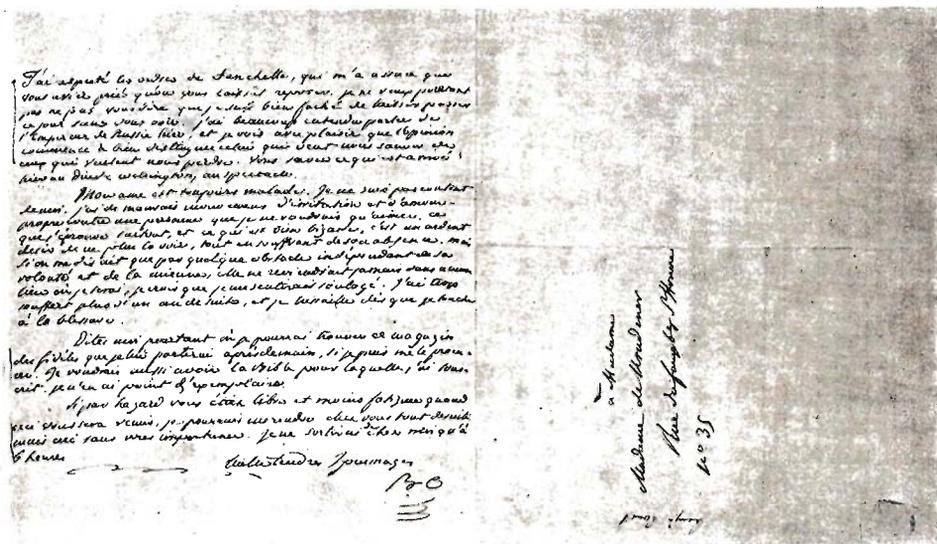
Неправда ли, вот больше, чем нужно, слов о вещах, за беседу о которых с вами я упрекаю себя. Есть, думается мне, известная профанация в том, чтобы возле вас не отдаться целиком тем воззрениям, какие вы внушаете всем умам с такой легкостью и силой. Я чувствую, что, ежели бы вы не должны были уехать, я ни в чем не отчаивался бы. Лишь ваш отъезд наводит на меня ужас. Клянусь, что когда последние три дня я ходил к вам без уверенности, что вы вернулись, я испытывал тот же страх, как отправляясь к ней в ... [нерзб.] и боясь не застать ее, что случается обычно. Не знаю отчего, но тайный голос вещает мне, что вы не уедете без того, чтобы не принести длительного блага.

Я испытываю от мысли, что вы пожелали уделить мне немного дружбы, давно уже неведомую душе моей сладость. Мне лучше, ибо вы в Париже. Мой рассудок яснее, сердце спокойнее. Я смотрю на ее отсутствие хладнокровнее, как на лекарство. Как видите, я преисполнен благоразумия и не хочу потакать своим слабостям. Господь поможет мне, если можете вы. Итак, я сегодня увижу вас в четыре часа. Меня лихорадило всю ночь. Но по мере того, как приближается срок повидать вас, я чувствую себя лучше. Эта надежда возвращает мне силы, каких мне не давала даже возможность поездки в Сен-Жермен. Вы будете беседовать со мной о высоких вещах, а я постараюсь возможно менее отягощать вас своими злосчастиями.

Это значит, что и окружение Крюденер стало принимать активное участие в констановской истории и осуждало поведение Рекамье; вмешательство дочери Крюденер, г-жи Беркгейм, создавало также вмешательство самого Беркгейма, а это составляло уже крюденеровский штаб; он противостоял штабу Рекамье, откуда исходили те «неблагоприятные отклики» по адресу Констана, с которыми, как говорится в письме, Крюденер собиралась бороться. Вообще, все происшествие принимало излишне публичный характер, усугубляясь еще тем, что г-жа Рекамье сочла возможным встать в несколько вызывающую позицию по отношению к основному крюденеровскому делу,—и баронессе пришлось прибегать к содействию того же Констана, чтобы попытаться ввести Жюльетту в рамки. Появляясь на приемах у Крюденер, г-жа Рекамье перестала считаться с их молитвенной атмосферой. Она держала себя, как в обычном салоне, и производила на собравшихся обычное впечатление. Она делала вид, что не замечает соблазна, который сеет. Констан должен был ей сказать это. Он выполнил щекотливую миссию с дипломатическим и стилистическим блеском. Он написал Жюльетте знаменитые строчки, включенные Шатобрианом в «Замогильные записки»: это доказывает, что они тешили самолюбие Рекамье и что она решила дать им литературную вечность. Кон-

стан написал: «С некоторым замешательством выполняю поручение, данное мне г-жою Крюденер. Она вас умоляет во время приездов к ней быть настолько менее прекрасной, насколько это в ваших силах. Она говорит, что вы пленяете всех, что все души приходят в смятение и сосредоточенность становится безнадежной. Вы не можете сбросить присущее вам очарование, но не увеличивайте же его!..»<sup>212</sup>.

Едва ли замешательство Констана было риторическим. Ему пришлось в неприятной истории выступить крюденеровским представителем; он понимал, что тому лагерю это станет известно и будет использовано. Он, в самом деле, стал в крюденеровском кругу чересчур своим. Он сопровождает Крюденер в поездках<sup>213</sup>. Он появляется в крюденеровских апартаментах по несколько раз в день, без предуведомлений и приглашений,



АВТОГРАФ ПИСЬМА БЕНЖАМЕНА КОНСТАНА К Ю. КРЮДЕНЕР ОТ 3 ОКТЯБРЯ 1815 Г.

Публичная библиотека, Ленинград

а когда возвращается из отъездов, извещает короткими, лишенными всех конвенансов записками, что приехал и будет тогда-то. Образец такой записки имеется в крюденеровском архиве; она типична для заключительной поры их отношений.

(12)

[Париж, сентябрь—октябрь 1815 г.]<sup>214</sup>

Я приехал вчера слишком поздно, чтобы идти к вам, не рискуя совершить безтактность. Но я жажду вас видеть и, если только не получу от вас запрещения, явлюсь к вам в 1 час.

Б. К.

Адрес: Баронессе Крюденер.

Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Выходило ли это за пределы дружбы? Во всяком случае, это перестало быть только ею. Сент-Бёв счел возможным, говоря об увлечениях Констана, назвать рядом три имени. В этюде, посвященном теме, весьма да-

лекой от личных дел Констана, — его «Курсу конституционной политики»<sup>215</sup>, среди общей характеристики писательской манеры Констана, в параллели с Шатобрианом, мимоходом, Сент-Бёв пишет: «Он был и человеком страстей, этот Бенжамен Констан, и человеком головных увлечений (госпожа де Сталь, госпожа Рекамье, госпожа де Крюденер)». В своих утверждениях Сент-Бёв образцово щепетил; его био-библиографические полемики неизменно кончались победами; да он и застал еще в живых г-жу Рекамье и бывал у нее, так же как хорошо знал хранительницу ее рассказов и архивов — ее племянницу Ленорман. Думается, что в приведенной цитате есть отголосок их воспоминаний и пояснений. Текст Сент-Бёва и публикуемые письма говорят о большой близости Констана к Крюденер в конце ее парижского пребывания. После отъезда Александра I для самой Крюденер наступила полоса, когда она испытывала потребность в сочувствии и в верных людях, — император с собой ее не взял; окружающее уже говорило о начавшемся безразличии, если не о немилости; Крюденер нуждалась даже в деньгах, и это задерживало ее отъезд из Парижа<sup>216</sup>, который был желателен со всех точек зрения. В таких условиях привязанность или дружба Констана не могла не согревать ее; во всяком случае, он был ей ближе, чем когда-либо. С другой стороны, для лагеря Рекамье, — а это значит и для всего парижского света, — Констан перешел границу светских отношений: как далеко, это было делом толкований недоброжелательства или защиты; само же по себе это не отрицалось и отрицаться не могло. Из всего этого явствовал вывод, что продолжать добиваться внимания Рекамье и не к чему, и невозможно. Крюденер поняла это раньше Констана. Письмо свидетельствует, что она остановилась прежде, нежели он; он же еще некоторое время, по инерции, метался, жаловался и понукал охладевшую энергию Крюденер. Что «ускользающую душу» уже не поймать, представлялось ясным и ему; но он был бы не самим собой, если бы оказался способным сразу поставить точку. Ему понадобился на это еще месяц; очередное письмо открывает собой последнюю, октябрьскую группу его посланий к Крюденер в канун ее отъезда из Парижа.

(13)

[Париж, 3 октября 1815 г.]<sup>217</sup>

Я подчинился настояниям Фаншетты, которая уверила меня, что вы просили дать вам отдохнуть. Но мне все-таки хочется сказать вам, что я огорчен необходимостью провести день, не повидав вас. Вчера было много разговоров о русском императоре, и я с удовольствием вижу, что общественное мнение начинает ясно различать, кто хочет нас спасти и кто хочет погубить. Вы знаете и о том, что случилось с герцогом Веллингтоном вчера во время спектакля.

Моя душа попрежнему больна. Я недоволен собой. Я испытываю нехорошее чувство обиды в отношении особы, которую мне хотелось бы только любить. В особенности же (и это весьма странно), во мне сильно желание больше не видеть ее, и, вместе с тем, я страдаю от разлуки с ней. Но если бы мне сказали, что в силу какого-нибудь препятствия, не зависящего ни от ее, ни от моей воли, мы с нею никогда больше не встретимся, мне кажется, я почувствовал бы облегчение. Я слишком сильно страдаю вот уже год с лишним, и каждое прикосновение к ране заставляет меня содрогаться.

Скажите мне всё же, где смогу я найти «Журнал для Верных» («Magazine des Fidèles»), который я отнес бы ей послезавтра, если мне удастся его раздобыть. Мне хотелось бы также получить библию, на которую я подписался. Я не получил своего экземпляра.

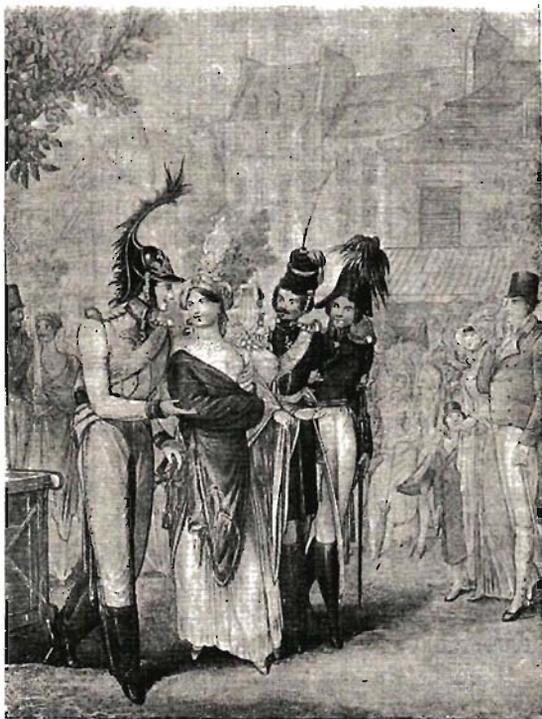
Если случайно вы не будете заняты и очень утомлены, когда вам передадут это письмо, я мог бы прибыть к вам тотчас же. Но только при условии, что это вас не затруднит. Я буду дома до 6 часов. Тысячу нежных приветов.

Б. К.

*Адрес:* Госпоже Крюденер.

Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Появление политических новостей в письме—необычно; этого не было со времени первых встреч, когда Констан сопровождал орлеанскую речь Шатобриана. Это можно считать симптомом изменений—того, что Крюденер даже перед Бенжаменом не скрывала утомления историей с Рекамье и выказывала больше интереса к текущим событиям. Это было тем естественнее, что отъезд царя произошел всего десять дней назад и крюденовский кружок еще был взволнован самим событием и его следствиями. То, что сообщал Констан, должно было пролить немного еля на раны: как настоящий крюденовский парижанин, как француз александровской ориентации, Констан связывал свист, которым встретили герцога Веллингтона в театре «Fovar» на представлении оперы «Семирамида», с разговорами парижского бомонда—видимо, на том же спектакле—о дружественности Александра к французским интересам, в противоположность английской политике. Но как и в свое время, когда он сопровождал шатобриановскую речь, эти новости были лишь присказкой, мости-



РУССКИЕ В ПАРИЖЕ

Акварель Г. Опица, 1814 г.

Исторический музей, Москва

ком перехода к более важному и привычному делу. Его просьба о библии и новой мистической рукописи, которую он намеревается нести к Рекамье, любопытна. Это значит, что он пытается заполнить брешь собственными усилиями и по своей инициативе продолжает применять к Жюльетте старую крюденеровскую рецептуру,—как будто это могло чему-либо помочь, а не являлось доказательством бесповоротности надвинувшегося конца. Его большое жалобное послание, за которым идет уже лишь несколько коротких писем перед самым крюденеровским отъездом, в сущности, подводит эти итоги, только без прямоты и без решимости смотреть правде в глаза.

(14)

[Париж, октябрь 1815 г.]<sup>218</sup>

Я не буду у вас сегодня утром, дорогой и бесценный друг. Грустные ваши сборы к отъезду и ваша поездка в деревню заполняют у вас утро; но я хочу вам написать, чтобы поблагодарить за то, что сегодня впервые, чуть ли не за 14 месяцев, я проснулся без боли и не почувствовал, через несколько минут по пробуждении, привычного ощущения давящей грудь тяжести, не покидавшего меня затем в течение всего дня. Благодарю вас, благодарю бога, вас направляющего и дающего вам возможность проникать во все сердца. Вы сделали мне больше добра, нежели я в силах высказать. Вы не ограничились тем, что разъяснили особе, которая невольно причинила мне столько зла, как трогательно чувство, которое я к ней питаю и которое она принимала за знаки мимолетного внимания, обычно оказываемого ей, тогда как в нем есть нечто удивительно глубокое и чистое; вы показали ей также, что страдание имеет право предъявлять известные требования к доброте, и этим как бы вновь открыли мне двери неба. Для того, чтобы я стал добрым и верующим, сверхестественная сила заставила меня прибегнуть к вашему посредничеству. Та, о ком идет речь, сама вам подтвердит, что с первых же дней я умолял ее позволить мне принимать участие в ее делах благотворения. Я предоставлял в ее распоряжение те немногие хорошие качества, которыми обладаю; ее очарование и неизъяснимая прелесть, превращающая ее в источник всех моих ощущений, вызвали в моей душе стремление стать лучше; тем ужаснее было чувствовать себя отвергнутым. Мне казалось, что сам господь отказывался принять ту малую долю добра, которую я хотел принести, и молитва, единственное мое прибежище, не давалась мне, ибо я думал, что небо от меня отступилось.

Боже, как я страдал и как она меня недооценивала! Да воздастся вам должное! Вы не только смягчили мои страдания, вы спасли мою душу. Нынешнюю ночь я провел, вознося благодарность небу, которое открылось мне вновь, и впервые с тех пор, как мной владеет это необъяснимое чувство, если только не видеть в нем воли сверхчеловеческой, я взглянул на жизнь без ужаса.

Я еще помню те минуты, когда хотел покинуть жизнь, ставшую столь жестокой. Клянусь вам, пока мое внимание оставалось сосредоточенным на этих помыслах о смерти, я не страдал; но как только я чувствовал свою решимость несколько поколебленной, при одной мысли опять вернуться к этим страданиям, которые я могу сравнить лишь с муками ада, со мной делались судороги.

Я вовсе не хочу вас пугать. Возможно, что даже в том случае, если я опять впаду в эту ужасную, томительную тоску, я из щепетильности

или слабости никогда не приведу в исполнение намерение, которое вы не одобряете. Но если бы я и решился остаться жить, было бы всё же злом держать человека в состоянии непрерывной пытки, разрушить его счастье, уничтожить его разум, его способности, которые могли бы еще пригодиться. Вы знаете меня лучше, чем я сам. Я готов лишиться того спокойствия, которое я так недавно обрел, если у меня найдется хоть одна мысль, хоть одно чувство, кроме той безграничной преданности, той потребности в душевной близости, привязанности и молитве, которые отныне необходимы для моего существования.

Но я дрожу при мысли о вашем отъезде. Я подобен тому несчастному невольнику, хозяина которого миссионеру удалось смягчить и который боится, что с утратой этого ангела-хранителя на сцену вновь появятся кнут и цепи, которыми он еще весь изранен. О, постарайтесь, чтобы она лучше меня узнала! Все мои достоинства в ней. Возможно, что если бы она пожелала ими воспользоваться, у меня нашлось бы очень много хороших качеств. Но я лишюсь всего, небо для меня закрывается, и сердце мое становится раскаленным камнем, когда она хочет меня оттолкнуть. Если бы она стала теперь плохо относиться ко мне, это явилось бы новым несчастьем для меня. Под влиянием ее доброты я начал убеждаться в том, в чем так страстно желаю убедиться. В том, что она смягчилась, я увидел действие ваших и моих молитв и влияние того таинственного и величественного имени, которое я хотел бы произносить с такой же горячей верой, как вы. И нельзя не признать чудом, что после тринадцати месяцев непреклонности, которую не могли тронуть никакие слезы, ее дружба излила бальзам на мои раны как раз тогда, когда вы стали молиться за меня. О, сохраните мне это благодеяние, быть может, это будет благом и для нее. Возможно, что она пожелает иметь кого-либо, с кем она могла бы говорить о тех мыслях, которые ее привлекают и должны завладеть ею. Она сможет сделать со мной всё, что захочет, и небо наделило меня некоторыми способностями для того, чтобы помочь ей окончательно стать на тот путь, от которого ее всё еще удерживают сомнения. Я чувствую себя порой таким добрым, таким любящим, и тогда мысль о том, что я не в силах дольше жить, вызывает у меня жалость к себе, словно к постороннему.

Извините меня за странное приложение к настоящему письму. Я дал обет богу за каждое его благодеяние оказывать, со своей стороны, помощь бедным, и всякий раз, когда я вновь обретаю способность дышать, чужая скорбь приходит мне на память. Вы сетовали, что невозможно приходиться на помощь всем, кто страдает. То, что я посылаю вам сейчас,—это очень мало, но малое может оказаться большим для несчастного, у которого ничего нет. Отдайте эту скромную сумму какому-нибудь бедняку, и пусть он молится за вас, за нее и за меня.

Я непременно увижу вас сегодня вечером.

По существу, это значило настаивать на том, чтобы Крюденер пренебрегла и предотъездными заботами и явным нежеланием что-либо еще предпринимать с констановским делом. Между тем, у нее оставались считанные дни, и, кроме того, после понесенного краха и перед тем, как пуститься в новое неопределенное плавание по жизни<sup>219</sup>, ей захотелось передохнуть несколько дней наедине, в деревне. Констан не мог этого не понимать, но считал себя в праве требовать от Крюденер жертвы. Он решился на упреки, на полуссору. Он написал ей даже слегка раздраженное письмо:

(15)

[Париж, октябрь 1815 г.]<sup>220</sup>

Ваш отъезд меня так огорчает, что я не могу воздержаться, чтобы еще раз не поговорить с вами по поводу него, не для того, чтобы отговорить вас, ибо я понимаю, что решение зависит всецело от ваших дел, но чтобы спросить вас, почему хотите вы отнять у нас эти несколько несчастных дней и уехать в деревню вместо того, чтобы остаться в Париже, пока все приготовления к отъезду не будут сделаны и закончены?

Вы сможете, если пожелаете, провести эти дни здесь в полном уединении, но я уверен, что всякий лишний разговор, который будет у вас с нашим другом, принесет ей неизмеримое благо. Простите мне мою настойчивость. Вы уже знаете мой характер, восприимчивый к страданиям, страстный, всегда увлеченный одной какой-нибудь мыслью, которая вследствие своей напряженности становится болезненной. Я считаю, однако, что заслуживаю снисхождения, так как меня побуждает быть настойчивым и вера в вашу проникновенную и нежную власть, и память о том, что вы уже дважды принесли мне успокоение, и опасение, что с вашим отъездом вернутся мои страдания. Подумайте о том, что каждая лишняя беседа с вами будет благодетельной для души, более чистой, более драгоценной, чем моя. Всё служит предзнаменованием в этом мире. Я [вынужден] сказать вам всё, что чувствую, потому что и я, я тоже являюсь предзнаменованием.

До завтра в 1 час. Я успокаиваюсь на мысли, что увижу вас еще раз, — эта мысль необходима мне, чтобы свободно дышать.

Слова о «предзнаменованиях» являются попыткой ученика побить учительницу ее же оружием. Но Крюденер было не до ученических турниров и не до отступления перед констановскими укорами. Она уехала и вернулась лишь к самому отъезду. Он встретил ее короткой запиской:

(16)

[Париж, октябрь 1815 г.]<sup>221</sup>

Вы вернулись! Я так вас ждал, что испытываю некоторого рода робость, намереваясь высказать вам мою потребность видеть вас. Мне кажется, что столь сильное желание, даже когда оно ни в чем не проявляется, должно показаться назойливым. Тем не менее, я позволю себе обратиться к вам с просьбой. Я должен выйти из дома на час-другой, возвращусь до полудня, и весь мой день, за исключением обеденного часа, так как я приглашен на обед, — в полном вашем распоряжении с 12 до 4 и после 8 вечера. Я очень грустил после вашего отъезда, тем не менее, я испытываю еще последствия того добра, которое вы мне сделали. Но мне необходимо еще раз испытать его. Рассчитываю на ответ и на вашу ангельскую доброту. Простите за форму этой записки. Все обращения, которыми я обычно пользуюсь при сношениях с другими людьми, кажутся мне неподходящими для вас. Шлю вам тысячу нежных приветов и благодарностей.

Б. Констан

Адрес: Баронессе Крюденер.  
Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

Констан еще видел Крюденер, но уже редко. Она прекратила приемы, доступ стал исключением. Констан просил г-жу Рекамье повидать отъезжающую. Ему было обещано оказать при прощальном свидании всё мыслимое

воздействие на Жюльетту. Он хотел быть при этом. Он писал Рекамье: «Г-жа Крюденер уезжает не тотчас же, судя по тому, что ее люди сказали мне, так как сегодня утром я не смог ее повидать. Я склонен отчасти думать, что желание увидеться с вами заставляет ее отложить отъезд на несколько дней, ибо мне сдается, что она очень любит вас, и это, разумеется, более чем



*Juliana Baronin von Kruedener*

*geb. von Hellinghof*

*Schweser v. G. 1766. † 1825.*

*Kopfbild 1780 mit dem Baron von Kruedener, Prof. Schmidt  
in Kempten, nach dem ihm 1791 gestochen.*

ЮЛИЯ КРЮДЕНЕР В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Литография с рисунка Ж.-Р. Лудерица

На листе помета неизвестной рукой с биографическими данными о Крюденер

Музей изобразительных искусств, Москва

естественно. Сообщаю вам об этом, дабы вы не причинили ей неприятности, не побывав у нее»<sup>222</sup>. — Можно сказать, до ребячества прозрачная стратегия! Ему самому понадобилось уже совсем немного времени, чтобы теперь подвести настоящие и жесткие итоги. Его последнее письмо к Крюденер таково:

(17)

[Париж, октябрь 1815 г.]<sup>223</sup>

Вы догадываетесь, конечно, дорогой и бесценный друг, что я очень грущу, ибо не вижу вас. Однако, пусть это не тревожит вашей ангель-

ской доброты. Ваш нежный голос вселил в мою душу покорность судьбе, которая если и не успокаивает моей печали, то предохраняет меня от всякого чувства протеста. Чего, однако, я не в силах видеть без содрогания, это возобновления прежнего образа жизни, который я вел год слишком. Мне нестерпимо ее невнимание или нежелание встречаться со мной, эти размеренные речи, это подавление меня на каждом шагу и вечно готовое объяснение для каждой мелочи, тогда как нужно лишь немного доброты, чтобы всегда найти для меня какие-нибудь несчастные четверть часа. Я предпочитаю уйти в себя и отдаться той тупой грусти, которая стала моим естественным состоянием в те минуты, когда мои страдания не так уж велики. Впрочем, мне совестно утомлять собой ваше неиссякаемое терпение. Раз вы не уезжаете сегодня, я буду завтра просить вашей поддержки, властной и действенной во всем том, что выше этого печального мира. Ваш скорый отъезд увеличивает мое уныние. Тем не менее, вы сделали мне много добра, и я за него благословляю вас и надеюсь его сохранить.

*Адрес:* Баронессе Крюденер.

Улица Фобур Сент-Оноре, № 35

В крюденеровском архиве больше писем Констанана нет. Крюденер уехала 22 октября 1815 г., взяв путь на Швейцарию. Оборвался ли с ее отъездом их интерес друг к другу, или не все документы еще дошли до нас? Вернее—последнее; остались следы писем, которых мы не знаем или знаем кусочками, да сохранилось одно целое письмо Крюденер к Констанану. Все это—отклики по горячему следу, вскоре после разлуки; а дальше—пустота. Крюденеровское письмо к Констанану—вообще единственное из всех пока обнаруженных ее посланий к нему. Оно полностью не опубликовывалось, но и сейчас воспроизводить его целиком нет нужды. Оно занимательно лишь типически; достаточно дать несколько характерных отрывков. Оно составлено сплошь из длинных, скороговоркой сказанных, проповеднических назиданий, замкнутых небольшой концовкой житейского порядка. Оно было отправлено из Берна, спустя десять дней после отъезда из Парижа, 4 ноября 1815 г. Крюденер призывает на «дорогого Бенжамена... милость того, в ком столько раз познавала» она «неисчерпаемое милосердие и кто желает лишь спасти и благословлять»; далее следует заявление, что она знает, как «чужд» стал Бенжамен «всем политическим движениям и как мало они занимают» его, «познавшего ничтожество людских умозрений перед истинным счастьем и тщету всех человеческих затей»; надо лишь уверовать: «веруйте же, дорогой Бенжамен... каждодневно, в простоте сердечной, принимайте к источнику благодати бога живого», и т. п. Концовка письма такова: «Сообщите мне, как ваши дела,—говорите откровенно обо всем, в том числе и том, что вас мучит и занимает. Что нового у нашей приятельницы? Здорова ли она? Передали ли вы ей то письмецо, которое я послала вам? Успокоились ли вы немного? Беседуете ли друг с другом? Прошу вас узнать, виделась ли она с кюре К. Я хотела бы, чтобы вы посетили его, дабы с открытым сердцем поговорить с ним и получить от этого почтенного человека полезные наставления. Были ли у вас известия от вашей жены, и вообще что вы поделяете? То лицо, которое передаст вам это письмо, сообщит вам мой адрес»<sup>224</sup>. Через месяц после

отъезда Крюденер, в конце ноября, Констан писал из Брюсселя г-же Рекамье: «Так как вы не пишете мне, то приходится послать вам прилагаемое при сем письмо, которое г-жа Крюденер прислала мне для вас...». А в публикациях г-жи Ленорман находим следующий отрывок крюденовского письма из Берна к Рекамье, датированного 12 ноября 1815 г.: «Что с этим бедным Бенжаменом? Покидая Париж, я написала ему несколько строк и послала ему несколько слов для вас, дорогой друг. Получили ли вы их? Каково его самочувствие? Проявите побольше милосердия к больному, который заслуживает жалости, и молитесь за него...»<sup>225</sup>. В письме, шедшем через Констан, видимо, был смягченный вариант того же рода. Наконец, на одной из парижских распродаж автографов мелькнуло еще одно письмо Крюденер к Рекамье, со строчками такого рода о Бенжамене: «...Я вернула его к благоразумию,—я сказала ему, что знаю о вашем желании понемногу избавиться от всего, что тяготит вас, и я предложила ему не мучить вас больше бурным чувством»<sup>226</sup>. Нуждался ли еще «бедный Бенжамен» в этих последних заботах Крюденер? Если и нуждался, то недолго. Об этом говорят заключительные записи его «Дневника» 1815 г., которыми он, так сказать, проводил обеих женщин. Вот проводы одной: «Г-жа Крюденер покинула Париж. Эта превосходная и добрая женщина оставляет мне наилучшие воспоминания по себе. Я работаю довольно хорошо. Я кончаю свою политическую брошюру...». Вот проводы другой: «... Сколько почестей оказывают мне в известных политических кругах,—а я потерял время на то, чтобы быть игрушкой презренной женщины!»<sup>227</sup>.

Это слишком горячо, чтобы быть концом отношений. Эпилог, действительно, проще и серее. Констан еще время от времени писал Рекамье, она ему почти не отвечала; потом на целых пять лет переписка оборвалась вовсе; а в 1823 г., спустя восемь лет после крюденовского посредничества, когда г-жа Рекамье была уже официальной подругой Шатобриана, а Шатобриан был, наконец, министром,—Бенжамен Констан, привлеченный к суду по журнальным делам и нуждавшийся в протекции, чтобы избежать наказания, счел возможным получить шатобриановское заступничество из рук Рекамье, а после процесса разукрасить благодарственное послание риторикой о своей былой любви: вот на что теперь пригодилась она. «Вы уже знаете, сударыня,—писал он,—об исходе судебного заседания. Я счастлив приписать вам всё хорошее, что случилось, и счастлив положить к ногам вашим почтительную мою благодарность. Вы принудили меня когда-то свести к этому мое чувство, и я вкладываю в него всё то, что вы не пожелали терпеть в ином виде...»<sup>228</sup>.

Но и он, в свой черед, пригодился Рекамье: когда в середине 30-х годов она приступила к организации своей посмертной славы и Шатобриан стал переделывать «*Mémoires d'Outre-Tombe*», чтобы уделить ей особую книгу, Жюльетта пожелала голосом Бенжамена Констан воздать себе главную хвалу: его письма, его записки, сверкающие комплиментами, биографический портрет с нее, написанный его рукою,— всё было ею самою подобрано и передано Шатобриану для инкрустирования; и Шатобриан подчинился желанию подруги, хоть и не лишил себя удовлетворения окружить констановские тексты высокомерными строчками, вариировавшими классическую тему о «бесплодных усилиях любви».

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРИМЕЧАНИЯХ

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barine.....                       | Arvède Barine, Bernardin de Saint-Pierre, 1891.                                                                                                           |
| Chateaubriand, M. d'O. T. . . . . | Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe. Nouvelle édition, avec une introduction, des notes et des appendices par Edmond Biré, tt. I—VI. P. Garnier frères. |
| Constant, Journal. . . . .        | Benjamin Constant, Journal intime, 1804—1816; nouvelle édition par Paul Réval, 1928.                                                                      |
| Constant, Lettres . . . . .       | Benjamin Constant, Lettres de Benjamin Constant à Madame Récamier. 1807—1830. Publiées par l'auteur des «Souvenirs de M-me Récamier», 1882.               |
| Eynard. . . . .                   | Charles Eynard, Vie de Madame de Krudener, 1849, tt. I—II.                                                                                                |
| Gautier. . . . .                  | Paul Gautier, Madame de Staël et Napoléon, 1903.                                                                                                          |
| Herriot. . . . .                  | Edouard Herriot, Madame Récamier et ses amis, 1934.                                                                                                       |
| Monglond. . . . .                 | A. Monglond, Histoire intérieure du préromantisme français, 1929, tt. I—II.                                                                               |
| Souriau. . . . .                  | Maurice Souriau, Bernardin de Saint-Pierre d'après ses manuscrits, 1905.                                                                                  |
| Trahard. . . . .                  | Pierre Trahard, Les maîtres de la sensibilité française au XVIII <sup>e</sup> siècle, 1933, t. IV.                                                        |
| Willson. . . . .                  | R. Mac Nair Willson, Madame de Staël et ses amis, 1934.                                                                                                   |

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Abel Hermant, Madame de Krudener, l'amie du tsar Alexandre I, 1934, 8.

<sup>2</sup> А. Н. Пыпин, Г-жа Крюднер — статьи в «Вестнике Европы», 1869, кн. 8 (август) и 9 (сентябрь).

<sup>3</sup> В. Надлер, Имп. Александр I и идея Священного союза, 1892, V, 308—338, 472, 610—629; Н. Шильдер, Имп. Александр I. Его жизнь и царствование, 1904—1905, III, 321—328, 339, 344, 400—401; IV, 233—235, 290.

<sup>4</sup> Несмотря на капитальное значение труда Ch. Eynard не только для характеристики Юлии Крюднер, но и целого ряда исторических лиц, соприкасавшихся с ней, до сих пор оставался невыясненным вопрос, какими материалами пользовался Шарль Эйнар при составлении своего двухтомника — от кого получал сведения, документы и редакторские указания. Советские архивы впервые дают возможность осветить работу Эйнара безусловными данными, на основании первоисточников, исходящих от него самого. В Институте литературы Академии наук, среди бумаг архива Р. С. Стурдзы-Эдлинг, находится ряд писем Ш. Эйнара, обращенных к графине Эдлинг (о ней см. гл. III данной работы, и особенно нашу публикацию: «Ж. де Местр и Сент-Бёв в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг» в этом же томе) и в значительной мере посвященных вопросам собирания материалов для двухтомника. Письма относятся к периоду от ноября 1839 г. до декабря 1843 г. Из них явствует, что, прежде всего, на помощь автору пришла сама Эдлинг, как личными беседами, так и предоставлением переписки и своих неопубликованных мемуаров и других заметок; далее, по ее указаниям или при ее содействии, Эйнар вошел в сношения со знакомыми и, особенно, с ближайшими, еще живыми, соратниками Крюднер — от дочери, Жюльетты Беркгейм, и пастора Эмпейтаза, до многолетней камеристки, Фаншетты, бывшей не только слугой, но и доверенным лицом. Вот основные упоминания об этом собирании материалов в письмах Эйнара к Эдлинг: «Глубокое впечатление, оставшееся у меня от ваших «Мемуаров», не может быть ложным. Так вспоминать можно лишь о том, что подлинно видел; вот и я видел то, что видели вы, — и я был там, где были вы, — и, сказал бы я, — пережил то, что вы пережили. Да и эта добрая госпожа Крюднер странно выросла в моем уважении с тех пор, как мне известны ее суждения о вас... Всё, что вы пишете, слишком коротко. Это подлинный недостаток, и я трепещу, как бы то же самое не оказалось в ваших письмах» (письмо от 18/XI—1839). В следующем письме Эйнар спрашивает: «... Не думаете ли вы, что можно кое-что пред-

принять для получения документов, находящихся в распоряжении г. де Жерандо, г. Эме Мартена, супруги Бенжамена Констана, г-жи Рекамье, может быть, г. Шатобриана и многих других выдающихся лиц? Не обратиться ли мне непосредственно к г-же Ошандо [пладчерике Крюденер], дабы заручиться ее содействием? Я ничего не предприиму без ваших советов» (письмо от 7/XII—1839); «... я видел после вас Фаншетту, которая поистине заинтересовала меня своим простым благочестием и такой точной, такой обстоятельной памятью о целой массе дат, которых я нигде не мог бы раздобыть...»; «... я еще не видел Эмпейтаза...» (там же). Очередное письмо упоминает о трудностях «получить от лиц, мною вам названных, сообщения, которых не желают делать без санкции г-жи Беркгейм [дочери Крюденер],—такой ответ, по крайней мере, получил [Сент-Бёв], когда он сам писал свою работу о г-же Крюденер. Вы встречаете, конечно, г. де Жерандо... Не могли ли бы вы при случае замолвить ему словечко о моих проектах?.. Чета Эмпейтаз присоединяет свои благопожелания...» (письмо от 23/XII—1839). Начало следующего года свидетельствует уже о ряде успехов в собирании материалов: «Благодарю вас за всё то, что вы желали собрать для меня. Я хорошо знал, что достаточно было вашей просьбы, чтобы она была исполнена, и я отнюдь не потерял надежды получить в один прекрасный день и письма от г. де Жерандо» (письмо от 7/I—1840). Однако, есть и неодолимое сопротивление: «... Я не изумлен бесчувствием, проявленным г. Шатобрианом в отношении г-жи Крюденер; будь у него к ней хоть малейшее чувство, я думаю, он сохранил бы письма, которые она ему писала в 1815 г., чтобы обратить его на путь истинный» (там же). Зато г-жа Ошандо и г-жа Рекамье решились, наконец, внести свою лепту: «... г-жа Ошандо, у которой были большие предубеждения против моих планов, высказала их недавно г. Эмпейтазу. Я поспешил написать ей и изложить мои намерения. Она только-что ответила мне восхитительным письмом; она так рада, что обещает поработать для меня и собрать свои воспоминания о ранних и последних годах жизни г-жи Крюденер... Г-н Эмпейтаз решился выпустить второе издание своей «Заметки об имп. Александре», в исправленном и дополненном виде» (письмо от 18/II—1840). «Я отправил отсюда ваше письмо к г-же Рекамье, прося ее согласия на мое первое путешествие. Это первое путешествие я предприиму только с вами, когда вы приедете или будете в Париже...» (письмо от 20/VI—1841). Сама Эдинг стала готовить для Эйнара свою переписку с Крюденер: «Я очень признателен вам за то, что вы начали делать для меня копии с писем г-жи К[рюденер]. Они вызовут у меня живейший интерес. Мне будет казаться, что я веду о вас беседу с г-жой Крюденер... Обещаю вам, что вычеркну всё, что вы обозначите, как не подлежащее использованию в моем труде, но все эти подробности для меня лично будут драгоценны. Я собрал в Париже обильную жатву документов и интересных автографов. Кореф (Koreff), с которым я, по вашим советам, много общался, тоже обещал мне кое-что» (там же). Наконец, в двух письмах конца 1841 г. упоминается о некоей парижской модистке, обладательнице крюденеровских материалов: «Как жаль, что вы не сообщили мне имя этой модистки, я бы поставил на ноги всю парижскую полицию, чтобы получить от нее драгоценную пачку» (письмо от 26/X—1841)—и об усилиях кн. Элима Мещерского добыть у священника Каченовского некую крюденеровскую рукопись: «Он делает бесплодные усилия получить ее у этого ужасного попа Каченовского, но напрасно» (там же); однако, настояния кн. Элима все же окончились успешно: «После невероятных трудов священник Каченовский одолжил, наконец, свой экземпляр кн. Э. Мещерскому. Какая радость для меня самолично ознакомиться с этим сокровищем!» (письмо от 30/X—1841).

<sup>5</sup> Этот первый этюд: «Madame de Krudener», появился в июльском номере «Revue des Deux Mondes» 1837 г. и был перепечатан в октябре в виде вступления к первому переизданию «Валерии» в 1837 г. Этюд вошел в состав «Portraits de femmes». Курс в Лозанне, посвященный «Port-Royal», Сент-Бёв начал в ноябре того же года, но уже с середины 1836 г. вел систематическую подготовку к лекциям (см. Sainte-Beuve, Correspondance Générale, под ред. Jean Bonpéro, 1936, II, письма №№ 542, 558, 591 сл.).

Вторая статья Сент-Бёва о Крюденер, вошедшая затем в «Derniers portraits littéraires», была написана в 1849 г., в связи с появлением в том же году двухтомника Ш. Эйнара. Сент-Бёв воспользовался возражениями Эйнара, считавшего недостаточно почтительным к Крюденер даже его первый этюд, написанный Сент-Бёвом с подчеркнутой благожелательностью, чтобы в этой новой статье резко пересмотреть и по существу и по форме свои предыдущие высказывания о Крюденер. См. также письмо Сент-Бёва к Ш. Эйнару.—Sainte-Beuve, Nouvelle correspondance, P., 1880, 116.

<sup>6</sup> Jacob Bibliophile, Madame de Krudener. Ses lettres et ses ouvrages inédites, P., 1880.

<sup>7</sup> Во французской литературе память о «Валерии» держится, в сущности, только полемикой современников, типа полемики Бональда—Бенжамена Констан (см. прим. 75-е и 227-е), и, главным образом, двумя указанными выше статьями Сент-Бёва, занимавшимися «Валерией» тоже лишь мимоходом, в связи с биографией Крюденер. По правилу, историки французской литературы умалчивают о «Валерии»; ее обходят не только старики Villemain и Nisard, что естественно, при их академических тенденциях, но и исследователи конца XIX в., как доктринеры, так и эклектики: Brunetière, Lanson, Petit-de-Julleville, Le Breton, Mornet и т. д., вплоть до компендиумов текущих лет в работах Hazard et Bédier (есть только библиографическая справка), Calvet или Albert Thibaudet; молчат о «Валерии» также новейшие специальные труды, посвященные французскому сентиментализму и преромантизму (А. Monglond, P. Trahard). Это объясняется тем, что «Валерия»—одиночка и ее автор не принимал дальнейшего участия во французской беллетристике, политической же судьба Крюденер совершенно заслонила ее литературное детище. В этом смысле знаменательно, что и в русской литературе единственный отклик—упоминание Пушкина—сделан мимоходом в «Евгении Онегине» (гл. III), в связи с читательскими вкусами 1810-х годов к героям чувствительных романов: в 1827 г., когда издавалась III глава «Онегина», уже надо было, как и в отношении других таких же старых произведений, давать читателям пояснения, что и сделал Пушкин в примечании: «Густав де Линар, герой прелестной повести баронессы Крюденер».

<sup>8</sup> Souriau, VII: «Эме Мартен..., женившийся на вдове своего учителя, удобно расположился в творчестве Бернардена, словно в полученном наследстве». См. также XX—XXI: «Корреспонденция (4 тома изд. Ladvocat, 1826) была опубликована с такой антинаучной небрежностью, что предпочтительно не пользоваться этими документами». Ср. Trahard, 71.

<sup>9</sup> Trahard, 82: «...единственно надежные документы—те, которые опубликованы M. Souriau [op. cit.], Ruinat de Gournier [Amour de philosophe: B. de Saint-Pierre et Félicité Didot], P., 1905] и Largemein [Lettres de B. de Saint-Pierre à Désirée de Pelleporc].—«Revue d'Histoire littéraire de la France», P., X, 1903, и XII, 1905].

<sup>10</sup> A. Herment, op. cit., 79.

<sup>11</sup> Б. де Сен-Пьер пишет: «Это произведение, благодарение богу, нравится женщинам, и я издал его в 1789 г. маленьким форматом в 18°, дабы они могли класть его в карман».—Souriau, 243.

<sup>12</sup> Monglond, 99, 104.

<sup>13</sup> Ibid., 107.

<sup>14</sup> Ibid., 72.

<sup>15</sup> Varine, 159: «...Повесть о Поле и Виргинии находилась под изголовьем главнокомандующего, как Гомер под изголовьем Александра...».

<sup>16</sup> Ibid., 159.

<sup>17</sup> Trahard, 130.

<sup>18</sup> Varine, 159.

<sup>19</sup> Souriau, 243.

<sup>20</sup> Ibid., 260.

<sup>21</sup> Monglond, II, 430; Souriau, 218.

<sup>22</sup> Ср. Николай Тургенев, La Russie et les Russes (русский перевод, М., 1915, ч. III, 342), где рассказывается об отношении Карамзина к Робеспьеру, а также статью Карамзина «Un mot sur la littérature russe».—«Le Spectateur du Nord», 1796, octobre. Характеристика революционных событий, данная в этой статье, была изъята самим Карамзиным из «Писем русского путешественника» (см. С. Макашин, Литературные взаимоотношения России и Франции XVIII—XIX вв.—том I настоящего издания, XXII и LXXII). О яковинском поведении гр. П. А. Строганова—см. в публикации «Французская революция 1789 г. в донесениях русского посла в Париже И. М. Симолина»—том I настоящего издания, 436, 442.

<sup>23</sup> Eynard, I, 33—35.

<sup>24</sup> Ibid., 31—32.

<sup>25</sup> Monglond, II, 435.

<sup>26</sup> Сводку см. у Trahard, 74—76.

<sup>27</sup> Eynard, I, 35, пишет, что Крюденер отправилась на юг в декабре 1790 г. Письмо Сен-Пьера от 6 февраля 1790 г. (см. далее, письмо № 2) делает это указание ошибочным,—повидимому, надо передвинуть отъезд на сентябрь 1790 г.

<sup>28</sup> Автограф (черновой).—Государственный архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 12. Публикуется впервые. Дата определяется указанием, имеющимся в ответном письме Сен-Пьера (см. письмо № 2).

<sup>29</sup> Это упоминание ставит под сомнение сообщение Эйнара, что Сен-Пьер принял первый визит Крюденер «с одушевлением, в память ее деда»: биограф произвел перенос в прошлое письма, которое Сен-Пьер отправил к Крюденер спустя год после первой встречи (см. письмо № 4), где, действительно, расточаются комплименты Крюденер в качестве внучки фельдмаршала Миниха. Маловероятно, чтобы Крюденер знала (откуда?) о давних авантюрах сен-пьеровской молодости и чтобы Сен-Пьеру была лестна ссылка на то, что он некогда подкармливался у вельможного деда Крюденер, когда голодным оборванцем добрался в 1762 г. до русской столицы. Миних мог появиться в их беседах лишь при дальнейшем ознакомлении друг с другом; в первом же путешествии Крюденер на улицу Королевы Бланш ее сопровождал, как явствует из письма, парижский посредник, сен-пьеровский знакомец.

Для советского читателя, естественно, представляет особый интерес история пребывания Бернардена де Сен-Пьера в России. Однако, в его биографиях—это один из наименее освещенных и документированных периодов. Между тем, во французских архивах наличествуют материалы, которые либо не использованы вовсе или же использованы лишь бегло (у Souriau). Специальный запрос редакции «Литературного Наследства» и проведенное в связи с ним обследование сен-пьеровских бумаг в Гаврской библиотеке и в архивах французского министерства иностранных дел в Париже выявили следующие данные:

#### В ГАВРСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ (BIBLIOTHEQUE DU HAVRE):

##### I. РУКОПИСИ Б. ДЕ СЕН-ПЬЕРА, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РОССИИ:

- |                                                                                                                                             |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. „Histoire de la régente Anne“ („История регентши Анны Леопольдовны“)                                                                     | 1—feuille de garde (Souriau, 29—30 — пересказ), 9—feuillets 30—33, 141—feuillets 73, 77—78 |
| 2. „Histoire de l'Indien“ („История индийца“ [автобиогр.] )                                                                                 | 45—23 feuillets                                                                            |
| 3. „Observations sur la Finlande“ („Замечания о Финляндии“)                                                                                 | 99—feuillets 1—7                                                                           |
| 4. „Fragment d'un roman dont la scène se passe dans les mers polaires“ („Отрывок повести, действие которой происходит у Ледовитого океана“) | 441—№ 8                                                                                    |

##### II. УПОМИНАНИЯ О РОССИИ В ПИСЬМАХ Б. ДЕ СЕН-ПЬЕРА:

- |                                                                                                                                                                  |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. „B. de St.-Pierre quitte la Russie“ („Отъезд Б. де Сен-Пьера из России“)                                                                                      | 38—feuille 42 (Souriau, 28)           |
| 2. „Note des services du sieur de Saint-Pierre“ („Счет за услуги г. де Сен-Пьеру“)                                                                               | 49—feuillets 17, 19                   |
| 3. „Une anecdote sur un pope russe“ („Анекдот о русском попе“)                                                                                                   | 60—feuille 69 (Souriau, 29)           |
| 4. „Bernardin de St.-Pierre attrape un rhume à Pétersbourg“ („Б. де Сен-Пьер заболевает простудой в Петербурге“)                                                 | 73—feuille 66 (Souriau, 28)           |
| 5. „L'histoire du jeune prince d'Olgorouky“ („История молодого князя Долгорукого“)                                                                               | 87—feuille 99 (Souriau, 29)           |
| 6. „Arrivée de B. de St.-Pierre à Pétersbourg“ („Приезд Б. де Сен-Пьера в Петербург“)                                                                            | 141—feuillets 1—3 (Souriau, 25—26)    |
| 7. „Duval, bijoutier français à Pétersbourg, prête de l'argent à B. de St.-Pierre“ („Дюваль, французский ювелир в Петербурге, ссужает деньгами Б. де Сен-Пьера“) | 145—feuillets 58—61, 73 (Souriau, 32) |
| 8. „Départ de Bernardin de St.-Pierre pour la Pologne“ („Отъезд Б. де Сен-Пьера в Польшу“)                                                                       | 146—feuille 79                        |
| 9. „Projet de préambule pour l'Arcadie“ (l'auteur y parle de Duval) („Проект предуведомления к Аркадии“) (автор говорит в нем о Дювале)                          | 170—voir feuillet 18                  |
| 10. „Mémoire au comte de Vergennes“ (l'auteur y parle de son voyage en Russie) („Мемориал графу де Верженну“) (автор говорит о своем путешествии в Россию)       | 172—voir feuillet 40                  |

#### В АРХИВАХ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В ПАРИЖЕ:

M. Gorlin, сделавший обследование этих архивов, сообщает редакции «Литературного Наследства», что упоминания о Б. де Сен-Пьере наличествуют в «Fonds de Russie» за годы 1763 и 1764. Эти упоминания связаны не непосредственно с самим Сен-Пьером, а с дипломатами, с которыми ему пришлось иметь дело в России. Этот материал упомянут в книге Fernand Maury, *Étude sur la vie et les œuvres de B. de St.-Pierre*, P., 1892, 20, 36, 37. Писем и рукописей самого Сен-Пьера в «русских фондах» министерства нет. Сведения о Сен-Пьере имеются и в «Fonds de Pologne» 1764, 1765; эти данные «польских фондов» также упомянуты в книге F. Maury.

<sup>30</sup> Сент-Бёв, как раз в связи с четой Крюденер, писал в предисловии к переизданию «Валерии» (см. прим. 5-е): «Это было обычным тогда для нравов высокого общества: супруг давал вам окончательное имя, положение и содержание, достолюбезное и удобное; ни на что большее он не притязал... Его, в лучшем случае, замечали в профиль или со спины в уголке ближайшего романа» («Notice», VIII, изд. «Valérie», 1840). Сама Крюденер в «Валерии» заканчивает перечисление достоинств Графа, т. е. барона Крюденера, такой похвалой: «Он не стесняет никого» (изд. 1840, 10).

<sup>31</sup> E u n a g d, I, 38.

<sup>32</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, картон № 2. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.

<sup>33</sup> Эти указания определяют дату первого письма Крюденер и время ее отъезда в Монпелье (см. прим. 27-е).

<sup>34</sup> Игра слов: «gai» означает «веселый». Состоявшееся знакомство Крюденер с Гэ было ею впоследствии широко использовано—см. главу II.

<sup>35</sup> В 1790 г. вышло второе издание «Confessions» Ж.-Ж. Руссо, дополненное письмами,—семь томов.

<sup>36</sup> В донесениях И. М. Симолина от 12 февраля 1790 г. (см. прим. 22-е) читаем: «...это г. Неккер убедил короля отправиться в Национальное собрание и возглавить собой революцию. Это он составил речь его величества. Он было вставил в нее слова, что король отправился туда свободно, но уверяю, что его величество вычеркнул эту фразу из своей речи» (ор. cit., 424). Ср. О л а р, Политическая история Французской революции, изд. 4-е, 1838, 108; «4 февраля 1790 г. Людовик XVI явился лично в зал Национального собрания, чтобы признать конституцию и прочесть милостивую речь... Собрание, охваченное безумной радостью, установило следующую гражданскую присягу: «Я клянусь быть верным нации, закону и королю и поддерживать всеми моими силами конституцию, декретированную Национальным собранием и признанную королем...». В этом акте видели, прежде всего, признание королем конституции и подчинение короля нации и закону».

<sup>37</sup> В ряду других своих натурфилософских домыслов, Б. де Сен-Пьер в «Etudes de la Nature» выдвигал и теорию возникновения морских приливов от таяния полярных льдов.

<sup>38</sup> См. «Донесения И. М. Симолина», ор. cit., 409, 416, 422, 423, 428, 431.

<sup>39</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.

<sup>40</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.

<sup>41</sup> Первые три тома «Этюд о природе» («Etudes de la Nature») вышли в Париже в 1784 г. (V a r i n e, 79), четвертый том, включавший «Поля и Виргинию», вышел в 1788 г.—I b i d., 141.

<sup>42</sup> «Путешествие на Остров Франции» («Voyage à l'Île de France») вышло в начале 1773 г. (V a r i n e, 59). Задуманное Сен-Пьером в 1790 г. дополненное переиздание не состоялось, и «Путешествие» было вновь напечатано лишь после смерти Сен-Пьера, в I томе его сочинений, изданных Эме Мартеном в 1826 г.

<sup>43</sup> См. прим. 29-е. В Собрании сочинений Бернардена де Сен-Пьера напечатано письмо фельдмаршала Миниха к Сен-Пьеру, едва ли не в интерполированном виде, как обычно у Э. Мартена. См. Bernardin de Saint-Pierre, Œuvres complètes préparées par Aimé Martin, P., 1833, XII, 366—367.

<sup>44</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 2. П у б л и к у е т с я в п е р в ы е.

<sup>45</sup> Фельдмаршалу Миниху было почти шестьдесят лет (1683—1767), когда императрица Елизавета, после переворота 1741 г., сослала его в Пелым, в качестве важнейшего министра свергнутой ею правительницы Анны Леопольдовны; в ссылке Миних пробыл двадцать лет, вместе с женой, урожденной баронессой Мальцан, по первому мужу обер-гофмаршалшей Салтыковой; из ссылки Миних был возвращен в 1762 г., при воцарении Петра III, вернувшего ему чины и звания.

<sup>46</sup> «Э к о н о м а т ы» (économats)—взимание в королевскую казну сборов в епископствах и аббатствах во время вакантности епископских и аббатских постов.

<sup>47</sup> Авиньон числился папским владением с 1348 г., когда в период так называемого «авиньонского пленения пап» (1309—1373) Климент VI приобрел Авиньон для папского престола. В 1790 г., под влиянием событий Французской революции, в Авиньоне началось массовое движение за воссоединение с Францией, признанное Национальным собранием в 1791 г. и оформленное Толентинским договором 1797 г.

<sup>48</sup> S o u r i a u, 260.



<sup>63</sup> «Suite des vœux d'un solitaire» вышло в следующем, 1791 г. В «Vœux d'un solitaire» Сен-Пьер занимает позицию умеренного монархиста, сторонника конституции и противника дворянских привилегий, с одной стороны, но и народной «анархии» — с другой, призывая к согласованию интересов трех сословий.

<sup>64</sup> В письме к Сен-Пьеру из Лейпцига, от 26 февраля 1793 г., Крюденер в постскрипуме пишет: «„Поль и Виргиния“ переведены на немецкий язык; постараюсь при okazji послать вам». — Jacob Bibliophile, op. cit., 20—23.

<sup>65</sup> Eynard, I, 63. О нападках на Б. де Сен-Пьера в 1792 г. за общественную инертность — см. M. Souriaux, op. cit., 256, 265.

<sup>66</sup> Письмо из Лейпцига, 26 февраля 1793 г. — см. прим. 64-е.

<sup>67</sup> Eynard, I, 114—116.

<sup>68</sup> Ibid., 47, 63, 105, 112, 120, 123.

<sup>69</sup> Ibid., 123.

<sup>70</sup> Willson, 197—198.

<sup>71</sup> Г-жа де Сталь и Бенжамен Констан были в Лозанне заняты сдачей в набор трактата г-жи де Сталь «О влиянии страстей на благополучие личностей и наций» (1796), корректуры которого, прибывшие из лозаннской типографии, они держали несколько месяцев спустя в Коппе. — Willson, 194.

<sup>72</sup> Серия этих афоризмов, действительно, впервые увидела свет и была напечатана в следующем, 1802 г., 10 вандемера, в парижском «Mercure», «при содействии господина Мишо, тогда весьма старавшегося для нее» (Sainte-Beuve, второй этюд о Крюденер. — «Derniers portraits littéraires», P., 1858, 291); тот же Мишо 10 декабря (18 фримера) 1803 г. напечатал в «Mercure» похвальную рецензию о «Валерии».

<sup>73</sup> Eynard, I, 107.

<sup>74</sup> Ibid., 107.

<sup>75</sup> Бональд, в связи с выходом «Газеты Бедных» — демагогического издания опальной и фрондирующей Крюденер, писал в «Journal des Débats» 28 мая 1817 г.: «Г-жа Крюденер была когда-то красива, она выпустила в свет роман, может быть, ею самой написанный, назывался он, кажется, «Валерия», был сентиментален и достаточно скучен» (цит. у Сент-Бёва в «Notice» к «Valérie»).

<sup>76</sup> Eynard, I, 130, 134.

<sup>77</sup> Willson, 314.

<sup>78</sup> Gautier, 2.

<sup>79</sup> Ibid., 47.

<sup>80</sup> Ibid., 65.

<sup>81</sup> Ibid., 72.

<sup>82</sup> Письмо к Фуше, март 1807. См. Willson, 286.

<sup>83</sup> Gautier, 84—87, 88—90, 105—114; John Charpentier, Napoléon et les hommes de lettres de son temps, 1935, 87.

<sup>84</sup> Albert Sorel, Madame de Staël, P., 1893, 104.

<sup>85</sup> J. Charpentier, op. cit., 79 и Gautier, 114.

<sup>86</sup> Автограф. — Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые. Дата письма определяется тем, что «Дельфина» появилась на свет в декабре предыдущего, 1802 г., и вся кампания против романа разыгралась в первый же месяц 1803 г.

<sup>87</sup> Gautier, 193.

<sup>88</sup> Herriot, 26.

<sup>89</sup> Во введении к этому описанию у Сталь стоит несколько слов, еще определеннее указывающих на Крюденер: «В этой иностранке есть очарование, не похожее ни на что известное нам: смесь безразличия и живости, меланхолии и веселия совершенно азиатского».

<sup>90</sup> Eynard, I, 124—125.

<sup>91</sup> Ibid., 126—127. Статья была подписана буквой «F», инициалом наполеоновского журналиста Жозефа Фиеве (Fiévé), переделанного малоосведомленной в журнальных именах и делах Крюденер в среднее между Фонтаном (Louis Fontanes, 1757—1821) и Фиеве.

<sup>92</sup> Eynard, I, 126—127.

<sup>93</sup> Herriot, 79.

<sup>94</sup> Eynard, 132.

<sup>95</sup> Ibid., 134.

<sup>96</sup> Ibid., 137—138.

<sup>97</sup> Antoine-Alexandre Barbier (1765—1825) — ученый-библиограф, автор «Словаря анонимных и псевдонимных произведений», занимал должность библиотекаря

Государственного совета и выполнял в этом качестве роль и личного библиотекаря Наполеона.

<sup>98</sup> Jacob Bibliophile, op. cit., 31—32.

<sup>99</sup> Она писала Беренже (Berenger), одному из редакторов лионской обработки «Валерии»: «...То, что есть удачного в «Валерии», зависит от религиозных чувств, которые мне дало небо... Вы, конечно, читали тот, другой роман, чья героиня, впрочем, столь благородная и добрая, возмущает свой пол убийством... Несмотря на красоты, которыми он блещет, он не должен пользоваться успехом... В конце концов, непоследовательность не есть преднамеренность. К чему предполагать, что г-жа де Сталь хотела написать опасную книгу?.. Я вижу по успеху моей дорогой «Валерии», что благочестие, чистая, защищающаяся любовь, трогательная привязанность возбуждают волнение и внимание...».—Е у п а г д, I, 146.

<sup>100</sup> «...в Женеве г-жа Крюднер опять встретилась с г-жой Сталь, и здесь мы опять видим ту постороннюю черту, которая, повидимому, вовсе не совместима с энтузиастическим увлечением. При встрече с г-жой Сталь,—рассказывает биограф,—она говорила о своем счастье, о своем спокойствии, о радостях молитвы; рассказывала свою жизнь, но не упоминала о необыкновенных фактах, которые, может быть, удивили бы г-жу Сталь, не доставив ей назидания. Г-жа Крюднер имела высокое понятие об искренности г-жи Сталь и считала ее способной и предназначенной к тому, чтобы найти истину, но она не торопила ее неловким усердием».—А. Пыпин, Г-жа Крюднер.—«Вестник Европы», 1869, сентябрь, 614.

<sup>101</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград, Архив Крюднер. Публикуется впервые. Упоминание о «гимнах кёнигсбергскому поведению» Крюднер—т. е. о ее занятиях благотворительностью при королеве прусской Луизе—указывает на эпизод 1806 г. (см. Е у п а г д, I, 159—161), однако, обозначение Коппе в качестве места отправления письма заставляет, в связи с тем, что в октябре 1806 г. г-жа де Сталь была во Франции, в Руане (см. Wills on, 285), передвинуть дату на следующий, 1807 г., ближайший к упоминаемому происшествию: в октябре этого года г-жа де Сталь, действительно, находилась у себя в Коппе.—Wills on, 293—294.

<sup>102</sup> Дочь Крюднер, позднее вышедшая замуж за бар. Беркгейма (см. прим. 187-е) и ставшая вместе с мужем ближайшей помощницей Крюднер.

<sup>103</sup> Е у п а г д, I, 164.

<sup>104</sup> Ibid., 165. Характеристика действительной роли Штилинга: «В 1803 г. герцог Баденский сделал Штилинга своим гофратом и призвал его в Гейдельберг, чтобы он продолжал свою борьбу против революционных идей; в 1806 г. он призвал его в Карлсруэ. Штилинг стал защитником алтарей и престолов. Сочинения его против революционного духа принимали чем дальше, тем больше характер пророчеств и ясновидений, и к тому времени, когда г-жа Крюднер с ним познакомилась, эта новая точка зрения созрела в нем совершенно; к 1808 г. относится его «Theorie der Geisterkunde».—А. Н. Пыпин, op. cit.—«Вестник Европы», 1869, август, 609.

<sup>105</sup> Цитаты из писем Крюднер 1808—1809 гг. здесь и дальше взяты из публикации: d'Haussenville, M-me de Staël et M-me de Krudener. Correspondance inédite, в литературном приложении к «Figaro» от 16 сентября 1911 г.

<sup>106</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград, Архив Крюднер. Публикуется впервые. Место отправления названо в письме. Дата определяется ответным письмом Крюднер от 16 марта 1809 г.—d'Haussenville, op. cit. (см. прим. 105-е).

<sup>107</sup> См. прим. 100-е, 105-е.

<sup>108</sup> Eynard, I, 214—215.

<sup>109</sup> Maurice Levaillant, Deux livres des Mémoires d'Outre-Tombe, édition critique d'après des manuscrits inédits; II—«Madame Récamier», 1936, 77. Ср. также Chateaubriand, M. d'O. T., IV, 459.

<sup>110</sup> M. Levaillant, op. cit., II, 206.

<sup>111</sup> Ibid., 301.

<sup>112</sup> Chateaubriand, M. d'O. T., II, 474.

<sup>113</sup> Ibid., 366—369.

<sup>114</sup> Eynard, I, 111.

<sup>115</sup> Chateaubriand, M. d'O. T., II, 246.

<sup>116</sup> M. de Lescurie, Chateaubriand, 1892, 63.

<sup>117</sup> Eynard, I, 107—108.

<sup>118</sup> Ibid., 107.

<sup>119</sup> Sainte-Beuve, Essai sur Talleyrand.—«Nouveaux Lundis», XII, 12. Сент-Бёв вообще отмечал, что Шатобриан в «Замогильных записках» трактует факты с

«царственной неточностью»—«souveraine inexactitude».—*Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe...*, I, 178.

<sup>120</sup> Маркс и Энгельс, Сочинения, XXII, 61—65; XXIV, 425.

<sup>121</sup> *Chateaubriand, M. d'O. T.*, II, 229.

<sup>122</sup> *M. de Lescure, op. cit.*, 72. Тьер пишет в «Истории консульства и империи»: «Чтобы дополнить эффект, который первый консул хотел произвести в этот день, г. де Фонтан поместил статью в «*Moniteur*» о новой книге, вызывавшей большой шум в эту минуту: то был «Гений христианства».—«*Histoire du Consulat et de l'Empire*», III, 429 сл.

<sup>123</sup> Подробности всей режиссуры—см. *Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe...*, I, 266—276.

<sup>124</sup> «Эта первая статья Фонтана о «Гении христианства» появилась в «*Mercure*» 25 жерминаля (года X); «*Moniteur*» от 28 жерминаля (18 апреля) лишь дал перепечатку «*Mercure*» (*Ibid.*, I, 272). Фонтан писал: «Этот труд, давно ожидаемый и начатый в дни гнета и печали, появляется, когда все злосчастия исправляются и все преследования оканчиваются».

<sup>125</sup> *Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe...*, I, 270 и 386.

<sup>126</sup> *Herriot*, 86.

<sup>127</sup> Об отрицательном отношении г-жи де Сталь и ее окружения к «Гению христианства» говорят отзывы ее и Бенж. Констан; весной 1802 г. Констан писал одному знакомцу: «Когда на протяжении пяти томов занимаешься изобретением удачных выражений и звонких фраз, трудно изредка не добиться успеха; но большей частью—это двойная галиматья («un galimatias double»); да и в лучших кусках есть смесь дурного вкуса, указывающая на отсутствие чувствительности и подлинной веры»; а г-жа де Сталь говорила г-же Рекамье, тогда еще вполне безучастной к Шатобриану и заставшей приятельницу со свежим томом появившегося «Гения христианства»: «Вы застаете меня огорченной: этот бедняк Шатобриан покажется только смешным; книга его шлепнется» («*va tomber*»). Ее насмешки сугубо вызывались главой: «Рассмотрение девственности с поэтической точки зрения».—*Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe...*, I, 188—189.

<sup>128</sup> *Eynard*, I, 110.

<sup>129</sup> *Ibid.*, 131—135.

<sup>130</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые. Дата письма неразборчива, но должна, бесспорно, обозначать «1803», поскольку роман «Дельфина» вышел в декабре 1802 г., а упоминаемые в письме нападки на г-жу де Сталь развернулись в самом же начале 1803 г.: статья Фиеве (см. прим. 91-е) появилась в «*Mercure*» 1 января 1803 г.; Крюденер в эту пору жила в Лионе.

<sup>131</sup> Мари Коттен (*M. Cottin, 1770—1807*) была автором «*Клэры д'Альб*» (1799), «*Мальвины*» (1801), «*Елизаветы*», «*Матильды*»—наиболее популярной из ее вещей, герой которой, Малек-Адель, упомянут Пушкиным, рядом с Густавом де Линаром из «*Валерии*», в III главе «*Евгения Онегина*». «Ничто не сравнится,—говорит Сент-Бёв,—с успехом, который имели в свое время романы г-жи Коттен; да и сама она возбуждала большие страсти» (*Sainte-Beuve, Mes poisons, 189*). Графиня Адель Флао, позднее маркиза де Суза (*A. Flahaut de Souza, 1761—1836*) написала «*Адель де Сенанс*», «*Евгению де Ратлен*» и др. См. о ней *Sainte-Beuve, Madame de Souza, в «Portraits de femmes*»: «Г-жа де Суза по уму, по дарованию вся связана с XVIII в... Г-жа де Флао, которая была еще молода, когда этот век умирал, сохранила его наследие, видоизменяя его со вкусом и приспособляя к новому двору, при котором должна была жить» (*op. cit.*, 50—51).

<sup>132</sup> *Chateaubriand, M. d'O. T.*, II, 366—369.

<sup>133</sup> *Sainte-Beuve, Derniers portraits littéraires, 291.*

<sup>134</sup> *M. Levaillant, Deux livres... etc.*, II, 77.

<sup>135</sup> *Eynard*, I, 110.

<sup>136</sup> См. нашу публикацию «Ж. де Местр и Сент-Бёв в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг» в этом же томе «Литературного Наследства».

<sup>137</sup> «Об этом важном деле она извещала своих друзей в сентябре 1814 г. так: «Господь удостоил привязать душу императрицы к пламенным желаниям моей души: я не один раз работала с этой ангельской женщиной...». Работой, о которой говорит г-жа Крюднер, были, конечно, беседы с императрицей, в которых она вела свою пропаганду.—А. Пыпин, *op. cit.*—«*Вестник Европы*», август, 623.

<sup>138</sup> *Eynard*, I, 303, 317—318.

<sup>139</sup> Эйнар частью использовал эти крюденеровские письма к Р. Стурдзе в I томе, 317—340. Оригиналы их находятся в архиве Эдлинг, в Пушкинском доме Ака-

демии наук. — См. публикацию «Ж. де Местр и Сент-Бёв в письмах к Р. Стурдза-Эдлинг» в этом же томе «Литературного Наследства».

<sup>140</sup> Н. Ш и л ь д е р, Имп. Александр I, III, 321—326. Сама Р. Стурдза-Эдлинг в «Воспоминаниях» передает это так, якобы, со слов самого царя: «...Я вспомнил то, что вы говорили мне о г-же Крюденер, и о желании, выраженном мною вам, познакомиться с ней. Где может быть она сейчас, спросил я себя, и как встретиться с ней? Невозможно! Но едва я высказал эту мысль, как услышал стук в дверь. То был князь Волконский, который с озабоченным видом сказал, что беспокоит меня вопреки своему желанию в такой неурочный час, чтобы избавиться от одной женщины, которая во что бы то ни стало хочет меня видеть. И тут он назвал мне г-жу Крюденер. Вы можете себе представить мое изумление. Мне казалось, что я грежу».—«Mémoires de la comtesse Edling», М., 1888, 232.

<sup>141</sup> Е у н а r d, I, 341. В брошюре «Notice sur Alexandre, empereur de Russie» пастора Эмпейтаза (Empeytaz), главного лица и подлинного руководителя крюденеровского штаба, читаем: «Г-жа Крюденер говорила своему государю в течение почти трех часов; Александр мог сказать только несколько отрывочных слов; опустив голову на руки, он проливал обильные слезы» (Н. Ш и л ь д е р, Имп. Александр I, III, 321—326).

<sup>142</sup> Третья часть «Замогильных записок», посвященная событиям «Ста дней» и Второй реставрации, начинается словами: «Я нарисую вам изнанку событий, которую история утаивает: история развертывает только лицевую сторону».—Chateaubriand, M. d'O. T., IV, 1.

<sup>143</sup> Chateaubriand, M. d'O. T., IV, 57.

<sup>144</sup> Обычно недоброжелательная г-жа Жанлис подтверждает, однако, в данном случае приведенное утверждение Сент-Бёва; она пишет в «Мемуарах»: «Я знавала ее... Она написала мне, выразив желание повидаться. Она говорила самые странные вещи со спокойствием, которое делало их убедительными. Она, несомненно, искренно верила в них».—Jacob Bibliophile, op. cit., 150.

<sup>145</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые.

<sup>146</sup> Chateaubriand, M. d'O. T., IV, 130.

<sup>147</sup> Автограф.—Всеукраинский исторический музей, Киев. «Альбом Каролины Собанской». Письмо Шатобриана попало к Собанской, вероятно, от дочери Крюденер, Жюльетты Беркгейм, с которой Собанская дружила. В альбоме находится также несколько писем известных крюденеровских современников—Б. Констана, г-жи Жанлис, Норвенна. Основной текст письма напечатан Эйнармом. Мы даем его полностью в переводе с подлинника. Подлинник в двух местах порван,—пробелы восстановлены по эйнаровскому тексту, заключенному в квадратные скобки.

<sup>148</sup> «Œuvres complètes de M. le vicomte de Chateaubriand», t. XXIII, P., 1826.—Discours prononcé le 22 août 1815 à l'ouverture du Collège électoral à Orléans, 25.

<sup>149</sup> Е у н а r d, II, 74—75.

<sup>150</sup> I b i d., 80.

<sup>151</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые.

<sup>152</sup> Е у н а r d, II, 80.

<sup>153</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер. Публикуется впервые.

<sup>154</sup> Е у н а r d, II, 81.

<sup>155</sup> «Congrès de Vérone, guerre d'Espagne, etc.» par M. de Chateaubriand, 1838, I, 152.

<sup>156</sup> Это явствует из упоминаний Б. Констана в его письмах к М-me Рекамье 1814—1815 гг. (см. Constant, Lettres).

<sup>157</sup> Constant, Journal, 189.

<sup>158</sup> I b i d., 186.

<sup>159</sup> I b i d., 187.

<sup>160</sup> Herriot, 143.

<sup>161</sup> Constant, Journal, 206.

<sup>162</sup> Herriot, I, VI.

<sup>163</sup> Gautier, 234: «Именно г-жа Рекамье служит посредником для г-жи де Сталь, получает из Коппе инструкции и письма, которые она доверительно передает друзьям изгнанницы. Потому-то император заявил в салоне императрицы Жозефины, что будет рассматривать, как личного своего недруга, каждого иностранца, который будет посещать салон г-жи Рекамье».

<sup>164</sup> [M-me Lenormant], Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Madame Récamier, 1876, II, 249—250.

<sup>165</sup> *Sainte-Beuve*, *Essai sur Talleyrand*.—*Nouveaux Lundis*, XII: «Шесть миллионов были ему обещаны неаполитанскими Бурбонами за содействие их восставлению на троне, и особые, довольно занимательные обстоятельства, сопровождавшие уплату, получили гласность».

<sup>166</sup> *Constant*, *Journal*, 189.

<sup>167</sup> *Ibid.*, 195—196.

<sup>168</sup> *Ibid.*, 192—198: «Приехал Лагарп; попытаемся через него добраться до Александра; «Я был сегодня представлен императору Александру. У него вид лучшего из людей... он мне повторил обещание ордена».

<sup>169</sup> Каролина Мюрат писала г-же Рекамье: «Нельзя сделать того, что вы хотели бы, для автора манускрипта... Если вы пожелаете на мгновение вдуматься, то у вас слишком много ума, чтобы не почувствовать всей значительности доводов, которые говорят против этого: во-первых, опасность вызвать недовольство министров, коим поручено это дело; затем целый народ, который счел бы бесчестьем, если бы иностранцу была поручена защита его интересов, наконец, французский король...» и т. д.— [*M-me Lenormant*], *op. cit.*, I, 275.

<sup>170</sup> *Sainte-Beuve*, *B. Constant et M-me de Charrière*, *Note*.—«*Derniers portraits littéraires*», 275.

<sup>171</sup> *Constant*, *Journal*, 201.

<sup>172</sup> *Ibid.*, 202.

<sup>173</sup> *M. Levailant*, *Chateaubriand*, *M-me Récamier... etc.*, 296.

<sup>174</sup> *Ibid.*, 296; *Constant*, *Journal*, 203.

<sup>175</sup> *Constant*, *Lettres*, февраль 1815, 115.

<sup>176</sup> Эта биография, написанная Б. Констаном, была, в извлечениях, вставлена Шатобрианом, по желанию Рекамье, в «Замогильные записки». Критически выверенный текст—см. *M. Levailant*, *Deux livres... etc.*, 17—25, 30—31, 230—236.

<sup>177</sup> *Sainte-Beuve*, *B. Constant et M-me de Charrière*, *Note*, 275—276.

<sup>178</sup> Цит. по тексту, приведенному у *Chateaubriand*, *M. d'O. T.*, III, 389.

<sup>179</sup> *Constant*, *Lettres*, июль 1815, 201—204.

<sup>180</sup> *Ibid.*, 205.

<sup>181</sup> *Constant*, *Journal*, 221.

<sup>182</sup> [*M-me Lenormant*], *Souvenirs et correspondance de M-me Récamier*, I, 285.

<sup>183</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые.

<sup>184</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые.

<sup>185</sup> *B. Constant*, *Adolphe*, гл. VIII, 19.

<sup>186</sup> Печатается по копиям, изготовленным для работы *Fr. Frossard*, *Madame Krudener d'après documents inédits*—«*Bibliothèque Universelle et Revue Suisse*», 1884, XXIV—и хранящимся в Гос. архиве феод.-крепост. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. Фроссар использовал эти копии не все, и притом лишь в извлечениях, применительно к нуждам своего изложения. Сохранились ли подлинники и где они, неизвестно. По заявлению Фроссара, материалы были ему представлены «внуками Крюденер», т. е. дочерьми Жюльетты Беркгейм (*Frossard*, *op. cit.*, 503). Отрывок данного письма см. у *Frossard*, *op. cit.*, 524. Полностью публикуется впервые.

<sup>187</sup> См. прим. 102-е. Барон Франц фон Беркгейм служил полицией-президентом в Майнце, но в 1814 г., став крюденовским прозелитом, оставил службу.

<sup>188</sup> Б. Констан готовил в течение ряда лет труд «*De la religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements*», который был издан в 4 томах в 1824 г. Он записал в «Дневник» 1804 г., в Веймаре: «Мне доставляет попрежнему бесконечное удовольствие читать Гердера. Его седьмая книга о происхождении и развитии христианства полна изумительной философии. Это совершенная противоположность абсурдной работе Шатобриана».—*Constant*, *Journal*, 11.

<sup>189</sup> *Ibid.*, 206.

<sup>190</sup> Автограф.—Гос. архив феод.-крепост. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. Публикуется впервые.

<sup>191</sup> Автограф.—Гос. архив феод.-крепост. эпохи (ГАФКЭ), Москва. Фонд Крюденер, № 8. Напечатано частично у Фроссара, *op. cit.* Полностью публикуется впервые.

<sup>192</sup> *Eupard*, II, 46.

<sup>193</sup> Автограф.—Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Архив Крюденер, карт. № 1. Публикуется впервые.

<sup>194</sup> *Constant*, *Lettres*, 20—24.